
РОМАН. ПОВЕСТЬ

Рудольф Артамонов
(г. Москва)

ПОВЕСТЬ О РУССКОЙ СОЛЬВЕЙГ*



Прежде, чем везти сына в Москву, Фима приехала одна. Дом на Донской, где они жили с Грегором, был разрушен. Завалы еще не разобрали. Можно было видеть обломки стен с накатанным трафаретным рисунком на них и по этому рисунку узнать, какой комнате эти стены принадлежали. В общежитии жили дружно, ходили друг к другу. Кто как живет, что ест и на чем спит, знали. Цельной мебели не было. Видно, уже растащили. Обломков же стульев, столов, топчанов и прочей немудреной «обстановки» рабочего общежития было сколько угодно. Подул сквозняк весенний ветерок и зашевелил мусор на завале. Открылась картинка. В узкой деревянной рамке пейзаж — золотистые деревья, зеленая трава и холодное синее небо. Фима нагнулась и подняла картинку. На обратной картонной стороне было написано — «Репродукция с картины Левитана «Золотая осень»». Фима взяла картинку — на память, и ушла от того места, где стоял ее дом, в котором она жила с Грегором, иностранцем, полюбившем ее и заставившим полюбить его. Фима не заплакала у развалин своего дома. Слезы она выплакала давно.

Она поехала в поселок Текстильщики, где жила Лиза, перед самой войной выскочившая замуж за военного летчика. Она жила с Анатолием, мужем, в доме от завода КИМ, где работала после окончания ФЗУ.

В городе ходили трамваи, автобусы, работало метро. На улицах было людно. Об отшумевшей войне говорили еще не везде убранные развалины домов, заклеенные полосками бумаги окна, очереди в продуктовые магазины.

Лизаветин дом оказался целым. Бомбили больше центр города, а Текстильщики — окраина Москвы. Наверное, поэтому дом уцелел.

Дом казался нежилым. Двери не заперты. Она нашла квартиру, в которой была комната Лизы. Вошла. Комната была пуста. Ничего из того, что было в ней, не осталось. Дешевая, но большая, картина, изображавшая вазу с цветами, которую они с Пелагией подарили Лизе на свадьбу, исчезла тоже. Остался гвоздь в стене. На него Фима повесила «Золотую осень» Левитана. Не на что было даже присесть. Она постояла в пустой комнате, вздохнула и вышла на улицу.

— Никак Лизина сестра родная? Кажется, Ефимия?

* Продолжение; начало в «ПЗ» № 1, 2011.

— Да,— сказала Фима.

Перед ней стоял пожилой мужчина, знакомый, но имя которого она забыла. Лицо непримечательное, но запомнить этого человека было легко,— у него не было одной ноги, и он ходил на деревянном протезе. Местный сапожник, сосед Лизы по дому. По совету сестры Фима раза два чинила у него свои туфли.

— Николай Петрович я. Не помнишь? Сапожничаю здесь.

Фима вспомнила.

— Где сестра? Лиза?

— В эвакуации.

— Вернется?

— Вернется.

— Я тогда за комнатой ее присмотрю. Замок поставлю.

— Спасибо вам, Николай Петрович,— сказала Фима, обняла пожилого человека, и тут она заплакала.

— Я вам махорки привезу, деревенской,— сказал Фима Николая Петровичу, утирая слезы.

— Спасибо. Так и будем помогать друг другу — ответил Николай Петрович.— Когда вернетесь?

— Не знаю еще. У меня дома нет. Разбомбили.

— Эх, беда, беда,— вздохнул старый сапожник.

* * *

Фима поехала в Сасово за сыном и Лизой.

В поезде, в общем вагоне, где ей досталось место у окна, Фима просидела все семь часов дороги, не засыпая и ни разу не перекусив.

Постоянная суета общего вагона, когда на каждой остановке обновляется публика, жующие свои нехитрые съестные припасы соседи по лавке, нескончаемые разговоры о закончившейся войне, о погибших и раненых отцах и братьях, о лишениях, которые им пришлось перенести,— не мешали Фиме предаваться своим, тоже нерадостным мыслям. Эти мысли о пережитом за последние года без всякой связи между собой возникали в ее голове, зримыми сценами проходили перед ее внутренним взором, чаще вызывали слезы на глазах. Иногда улыбку.

Весной, перед самой войной она заболела. Ревматизм. Положили в больницу.

Сына Рамона, Романа, Ромашку по-русски, оставила на Пелагию. Известие о войне застало ее в больнице. Она рвалась к сыну, но врачи не отпускали. Говорили — у тебя порок сердца, умрешь, сына сиротой сделаешь, а так хоть с больной да с матерью сын будет. Осталась в больнице. Ромашку, трехлетнего, Пелагия увезла в Сасово. В дороге Пелагия, сама бездетная, не знает, как обращаться с детьми, накормила сына колбасой. У него разболелся живот, и потом его рвало. Привезла в Сасово больного. Поля-Пелагия! Ушел Иван на фронт, так и не успели они обзавестись ребенком. Через полгода войны пришла «похоронка». Как Пелагия убивалась! По полу каталась, говорила, руки на себя наложит. А через год — опять веселая, наряжаться стала. Приглядела себе инвалида без одной ноги. Танцевать его учит. У него только ступню на войне оторвало. Ходит, почти незаметно, что инвалид. Живут, не расписываясь. Бедовая наша Поля! Говорит, война все спишет. Лиза не такая. Ее Анатолий погиб на третий год войны. Прислали ей его китель с орденами и кортик офицерский — морской летчик был. Лиза повесила китель и кортик на стену и каменная стала. Сутки ее от этой стены не могли оттащить. Глядеть на нее было больно... Тоже не успели ребеночка родить. Прожили-то вместе всего полгода. Теперь Лиза Ромашку за своего сына считает. Велит ему называть ее мамой. Ну и что, что одна мама уже есть, я — мама номер два. Когда в сорок третьем, как раз через два месяца после это-

го по нем пришла «похоронка», Анатолий приезжал с фронта в Сасово на побывку на четверо суток, они с Лизой встретились прямо на улице. Он приехал, а Лиза была на работе. Ей позвонили, что муж приехал. Она все бросила и домой. Анатолий тоже не стал дожидаться ее дома, побежал навстречу. На улице они и встретились. «Сшиблись они, как сымашедшие. Он на руки ее схватил и кружит. А у него ордена на груди звенят. Как тут не засмотреться». Так потом рассказывала бабка Зинаида, соседка, которая, засмотревшись на встречу Лизы с Анатолием, оступилась, упала и сломала ногу.

Фима улыбнулась.

«Первая жертва любви» — потом шутили они с Лизой. Второй жертвой любви стала ее сестренка Лиза. До сих пор она ни на кого не хочет смотреть. Говорят ей, что, мол, жизнь проходит, мертвого не вернешь, а она никого слушать не хочет. Как привезу ее в Москву, в ее комнату, где ничего не осталось от ее с Анатолием короткой совместной жизни!? Одни голые стены. Выдержит ли ее сердце? Здесь, в Сасове, уже после известия о гибели Анатолия она тоже перенесла ревматизм. Вот напасть-то на их семью! У Лизы теперь тяжелый порок сердца. С завода пришлось уйти, тяжело работать нельзя, разрешили только воспитательницей в детском саду. Она и рада с Ромашкой целый день быть.

Фима всплакнула.

Ромашка славный, его не полюбить нельзя. Смугленький, широконосый, как отец. Смышленный. «Я Рамон». Сколько раз ему говорили, что не «Рамон», а «Роман». Потом уж, когда запретили ему строго-настрою, стал называть себя Роман, Ромашка. И все спрашивал — а почему? Как же можно было ему объяснить, почему?! Она сама, когда прибежала к Марии Петровне, чтобы та объяснила ей — почему? — увидела совершенно чужое лицо. Ничего, Ефимия, не знаю, и знать не хочу, сказала парторг. Ты мне ничего не говорила, и я тебе ничего не говорила. Поняла? Но как же, Мария Петровна, но как же?! Фима тогда разрыдалась. Она ждала, что Мария Петровна своей сильной рукой прижмет ее к пышной мягкой груди и скажет что-нибудь утешительное, объяснит. Но Мария Петровна только сухо и коротко, как отрезала, сказала — сожги все бумаги... не было ничего. И отвернулась от нее, Фимы.

О себе Фима не хотела вспоминать. Она отгоняла от себя любое воспоминание о том, что пережила она сама. Боялась не выдержать, разрыдаться...

За окном вагона, чем дальше от Москвы, тем меньше война напоминала о себе. Дома проезжаемых городов не были разрушены. Станционные постройки целехоньки. Привычно, как и раньше, до войны, на станциях торговали семечками, махоркой. На остановках пассажиры выбегали за кипятком.

Казалось, и не было войны, горя, страданий, потерь близких, разбомбленных жилищ. Не было бессонных ночей, наполненных страхом, не было бесконечно длящихся голодных дней. Нет, конечно, все это было. И осталось в памяти и сердцах этих людей — ее соседей по вагону, этих пожилых женщин в валенках и телогрейках, хотя лето на дворе, торгующих на перронах нехитрым товаром. Но лица их, как ни вглядывалась в них Фима, не несли на себе печать скорби и уныния. Жизнь продолжается. Надо жить...

Но как?! Одна, с маленьким сыном на руках. Больная. Когда лечащий врач сказал, что ей дают инвалидность по болезни, вторая группа, она запротестовала. Она, Фима, молодая женщина, инвалид?

Слезы снова выступили у нее на глазах. А тогда, услышав об инвалидности, она разрыдалась. Нет, нет, ни за что! Никакой инвалидности. Врач положил ей руку на плечо и сказал: не дури. Время трудное. Пригодится. Как инвалидность может пригодиться? Кому она будет нужна с инвалидностью?

В Сасове не было заводов, где бы она могла работать. А если бы и был, ее бы, на-

верное, и не взяли — инвалид. Ей предложили работу в столовой, поваром. Это предложение обидело и рассмешило ее одновременно. Она, шлифовщица высокого разряда, привыкшая иметь дело с металлом, станет к плите?

— Соглашайся, Фима,— сказала Поля. — По крайней мере, сын будет сыт, и сама будешь сыта.

Да, тогда эта работа помогла им всем не голодать. Сначала Фима стеснялась брать с кухни съестное. Но шеф-повар, Иван Иванович, добрый человек, сказал: бери понемножку, сынка поддержи.

Как Ромашка обрадовался и удивился, когда она в первый раз принесла ему с работы два печенья. Где ты взяла, спросил он. Лисичка прислала, ответила Фима. С тех пор он всегда, когда она приходила с работы, спрашивал — что ему сегодня прислала лисичка.

Все равно было голодно. В прошлом году Ромашка ходил с ребятами в поле собирать колоски. Большое хлебное поле было через квартал от их дома. После уборки на поле оставались колоски. Из них выеивали зерно, молотили его на самодельных жерновах. Получалась мука. И пекли лепешки.

Фима сшила Ромашке специально для сбора колосков сумку. Он надевал ее на плечо и, мужичок-с-ноготок, шел, как на работу, в поле с ребятами из соседних домов. Собирать колоски ходили и взрослые, в основном женщины. Фима не ходила.

Однажды Ромашка пришел весь в слезах и без сумки. Оказалось, объездчик стегнул его плеткой по спине и отобрал сумку с колосками. Досталось и другим ребятам. С тех пор Фима запретила Ромашке ходить в поле.

Он такой хороший, ее Ромашка. Смуглый, черноволосый. Худенький, но крепкий. Глаза карие, смысленные и, как у отца, всегда влажные, будто только что плакал. Но плачет он редко. Даже когда обидно и больно, сдерживается. Однажды с соседским мальчишкой Генкой Худяковым залезли на забор стручки акаций собирать в палисаднике Марии Николаевны, соседки. Та вышла да шуганула их. Генка спрыгнул и убежал, а ее Ромашка повис кверху ногами на заборе — жесткие подошвы сандалий застряли между штакетником. Пелагия была дома. Вышла, сдернула Ромашку с забора и спавшими с его ног сандалиями отшлепала его по мягкому месту на виду у всех, прямо на улице. Ромашка все стерпел, ни слезинки не проронил. Только с тетей Полей потом долго не разговаривал.

Фима улыбнулась. Мысли о сыне всегда вызывали в ней светлые чувства. Он очень ее любит. Тогда, после выписки из больницы, она поздно ночью приехала в Сасово. В доме свет был только в одном окне. Она постучала по стеклу.

— Мама, мама приехала! — Это был голос Ромашки.

— До сих пор твой не ложился спать. Все маму свою ждал,— ворчливо сказала Поля, открывая ей дверь и впуская в дом.

А Ромашка бросился к ней, обхватил ее руками и уткнулся носом ей в грудь...

Как теперь будет? Надо везти его в Москву. В сентябре в школу идти. Семь лет. Оставлять его в Сасове, как бабушка предлагает, Фима не хотела. Он должен быть москвичом. Выучиться. Получить образование. Стать, как отец, умным, образованным... Каким был Грегор...

Поезд остановился. За окном было Сасово.

* * *

Решено было ехать в Москву как можно быстрее, чтобы успеть определить Ромашку в школу. Стали собираться. Собираться, собственно, было нечего. Одежда и обувь — все, что на себе. Немножко посуды. Но концу сборов набралось много — подушка, матрац, ведь не будешь спать на полу.

Когда Лиза узнала, что в ее московской квартире не осталось ничего, кроме гвоз-

дя в стене, она не расстроилась. Жизнь надо начинать сначала. Китель Анатолия с орденами и кортик решила взять. Кортик ради Ромашки. Он был его любимая игрушка. Не позволялось только вынимать его из ножен. Ромашка прикреплял его к поясу и отдавал тете Лизе честь — прикладывал напряженную ладошку к виску.

Пошли проститься с Полей. Она жила со своим одноногим ухажером, не расписываясь, у него. Пили чай. Егор, Полин «муж», выпил самогону.

Говорили только о том, чтобы Поля почаще навещала бабушку Стешу в деревне, и если что, сразу дала знать им в Москву.

— Не забывай свою тетю Полю,— сказала Пелагия, обнимая Ромашку.

Сестры обнялись, всплакнули. Жизнь получилась не такой, как они думали.

— Чего кричать-то,— сказал Егор.— Не на край света уезжаете. В гости к вам будем с Полей ездить в Москву.

— Пока некуда,— сказала Фима,— в одной комнате втроем будем жить. В Лизиной, от производства. От моей одни крошки остались.

— Ничего, когда разбогатеете. Молодые, здоровые,— не унимался Егор. Стуча протезом по полу, вместе с Полей проводил их до дверей и, по-родственному, расцеловал.

— Были здоровые,— вздохнула Фима.

Потом пошли проститься с Зинаидой Гавриловной, хозяйкой дома, куда Фиму с Ромашкой и Лизой поселили, когда они приехали в Сасово, как эвакуированных.

Сначала не хотели к ней идти. Встретила тогда она их плохо — «уплотнили» ее. Недовольна была. Ворчала, до ссор доходило дело. Лизка, задира, ни в чем уступать ей не хотела. А потом как-то все образовалось. Бездетная Зинаида Гавриловна привязалась к Ромашке. А когда у Лизы погиб Анатолий, она, Зинаида Гавриловна, сама проводившая мужа на фронт, смягчилась к Лизе, стала звать ее Лизонькой.

Когда Фиме от столовой дали жилплощадь, и они съезжали, Зинаида Гавриловна дала им кое-что из посуды и два стула, и даже прослезилась. Просила не помнить худого и навещать.

Решили все-таки зайти к ней и попрощаться. Ее муж пропал на фронте без вести. Она жила одна.

Приняла она их в той самой комнате, в которой они квартировали. Постарела Зинаида Гавриловна. Седых волос стало больше. Взгляд всегда сердитых глаз теперь смягчился.

Она была им рада. Сестры сказали, что зашли на минутку, но Зинаида Гавриловна упростила их «посидеть». Накрыла стол. Выставила жареного кролика. По тем временам — неслыханная роскошь.

Все войну Зинаида Гавриловна держала в сарае кроликов. Когда она жарила их, ароматный дух, наполнявший дом, вызывал в животе у Ромашки голодные боли.

— Кушай, Ромашка, вкусно,— сказала Зинаида Гавриловна, подвигая ему тарелку с красиво обжаренными кусочками.

Но Ромашка есть кролика не стал. Он вспомнил, как однажды, когда они еще жили «на квартире», Зинаида Гавриловна во дворе забивала кролика. Взяла его за задние ноги, он повис у нее, а она скалкой как даст ему по голове, кролик сразу и умер.

Ромашка отодвинул тарелку.

Поговорили о разбомбленной и голодной Москве, повспоминали, повздыхали, обнялись и простились.

На другой день поехали в деревню к бабушке Стеше. Ехали в расхлябанном дребезжащем автобусе. На остановках, когда автобус тормозил, клубы пыли врывались в раскрытые двери. Ромашка чихал и вытирал пальцами запыленные сандалии.

Бабушка Стеша, вдовья с тридцати лет, жила в деревне одна, в доме, который построил еще ее дед — Григорий Кузнецов. В этот дом, шестнадцатилетнюю, ее привел

дедушка, тоже Григорий Кузнецов. А в девичестве, то есть до замужества, бабушка была Артемьевой. В этом доме бабушка родила их отца, тоже Григорий: таков был семейный обычай — старших сыновей называть этим именем, и еще трех его сестер. Их отец привел в этот дом Татьяну Артемьеву, их мать. В этой деревне половина была Кузнецовы, а другая половина жителей были Артемьевы. Их мать, Татьяна, тоже овдовела в тридцать лет, потеряв от тифа мужа и сына — Григория, их с тетей Лизой брата, а его, Ромашки, дядю. И сама через год после этого погибла — пьяный шофер на грузовике ее задавил на смерть. Три девочки — Поля, Фима и Лиза — остались на руках у бабушки Стеши...

Все это Фима рассказывала Ромашке, пока они ехали в деревню

Ромашка слушал внимательно. Когда Фима закончила рассказ о своей родословной, сын сказал — а о папиной родне расскажи.

— В другой раз, — сказала Фима. Он отвернулась к окну.

Что она может рассказать сыну о его отце? Она мало что знает о нем. А уж о его родне тем более. Она не расспрашивала, он же говорил мало и неохотно, как о чужих. Знала только, что у него есть две сестры. Одна очень похожа на Лизу. Если сказать об этом сыну, он станет расспрашивать еще и удивится, как мало она знает о родне его отца.

Фима молча глядела в окно. Проезжали знакомые с детства места. Она помнит их по поездкам с матерью в Сасово. Сейчас вид знакомых мест не согревал ей душу. Они были знакомые, но как чужие. Как будто не она, а кто-то другой жил здесь. От этого ей стало жалко себя. Слезы выступили на глазах.

Лиза, чтобы Ромашка не видел маминых слез, стала развлекать его воспоминаниями своего с Фимой детства в деревне.

Она вспомнила, как однажды зимой они все сидели в жарко натопленной избе. Лизе очень хотелось пить. И тетя Поля, озорная была, принесла из сеней заиндевший топор. «На лизни, холодненький», — сказала Поля младшей сестре. Та лизнула, и язык прилип к топору. Было очень больно. Полька смеялась, а Лиза стояла с топором в руках и не могла его отпустить — язык никак не отлипал. Хорошо Фима догадалась полить на топор теплой воды. Язык сразу отлип от топора.

Рассказ тети Лизы не развесил Ромашку.

— Дура тетя Поля. Язык мог оторваться, — серьезно сказал он.

— Но зато Бог наказал Польку, — продолжала рассказывать Лиза.

Тетя Поля никогда не смотрела, куда садится. Плюхается и все. На книжку может сесть. На ее, тети Лизы, юбку, наглаженную к выходу, может усесться. Один раз она, как всегда не глядя, плюхнулась на кровать и села прямо на вязальный крючок. Крючок впился в тетину Полину попу. Она с мамой вынимали крючок, а тетя Поля кричала от боли. Крючок вязальный вынуть не просто.

Ромашка хохотал во весь голос, он живо представил себе, как все это было.

Утерев слезы, Фима повернулась к сыну.

Автобус в очередной раз затормозил и остановился. Через клубы пыли, ринувшиеся в дверь, они вышли из автобуса.

Бабушка Стеша встречала их у калитки палисадника перед своим домом. Она знала, что они уезжают в Москву насовсем, и ждала их проститься.

В большом просторном доме в этот жаркий душный день было прохладно. Пахло вымытыми полами и какой-то душистой травой.

Ромашка с любопытством осматривался в деревенском доме. Темные бревна стен и темный потолок придавали комнатам торжественный вид. Ромашка сначала ходил по дому на цыпочках. В углу напротив двери разноцветно сверкали иконы, подсвеченные горячей лампадкой. В самую большую комнату — горницу — выходила белая печь с лежанкой на верху. Топка была из кухни.

Ромашка теперь знал, что в этом доме жили папа и мама его мамы и ее, мамы, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки. Он попробовал представить их себе, и они оказались все похожими на бабушку Стешу — седую, большую, с сильными руками. Когда она погладила его по голове, он ощутил тяжесть ее руки. Он тоже, когда вырастет, будет большой и сильный, а потом седой. Он ходил по дому, широко шагая и твердо ставя ноги на пол.

— Мужичок,— сказала бабушка Стеша. Вздохнула. — Не наш. Не Кузнецов.

От Поли она знала, кто был отец Ромашки.

— Кто он будет? — обратилась она с вопросом к Фиме.

— Бабушка, я же вам говорила, мой он, Кузнецов,— с отчаянием в голосе ответила Фима.

— Так не бывает,— стояла на своем бабушка.

— Бывает,— за Фиму ответила Лиза.

По совету Марии Петровны Фима сожгла все бумаги, касавшиеся ее брака с Грегором, и записалась как мать-одиночка. В паспорте в графе «отец» теперь у нее был прочерк. Ромашка был записан как Роман Григорьевич Кузнецов.

— Горемычные мои. Без мужей. Без детей,— вздохнула бабушка. Добавила горестно: — Больные.

На глазах у нее появились редкие слезы. Она утерла их кончиком головного платка.

— Бабушка Стеша, не плачь. Я же есть.

— Есть, внучек, есть.

Сели за большой, чистый — скобленный — стол. Ели молодую картошку, мало-сольные огурцы. Черного хлеба было вдоволь. Пили чай с душистой мятой.

Говорили об огороде — что когда поспеет, чего сколько уродится. Картошек будет мешков пять. Одной до новой хватит. Капуста тоже хорошая в этом году. Огурцов засолит. Морковка там, свеколка. Одной много ли надо.

Ромашка представил себе, как бабушка одна будет всю зиму жить в этом большом темном доме.

— Бабушка Стеша, хочешь, я с тобой буду жить,— сказал он.

— Добрая душа. В нашу породу,— сказала бабушка.

— Его отец тоже был добрый человек,— сказала Лиза.

— Добрые, они долго не живут,— вздохнула бабушка.

Фима поторопилась перевести разговор на другую тему.

— Когда устроимся в Москве, площадь побольше получим, вас к себе заберем. Хорошо? — сказала она бабушке Стеше.

— Нет, внучка. Помирать здесь буду. Здесь все мои лежат. И мне здесь лежать.

— А можно посмотреть, где они лежат? — сказал Ромашка, понимая, что речь идет о дедушках и бабушках и о прадедушках с прабабушками.

— Отчего нельзя. Можно,— сказала с готовностью бабушка.— Здесь недалеко. И вам надо сходить,— добавила она, обращаясь к внучкам.

Через пять дворов на спуске к реке Цне было сельское кладбище. Все вчетвером они пошли по деревне. Впереди бабушка Стеша за руку с Ромашкой. Встречные раскланивались с бабушкой. Ромашка тоже говорил — «здравствуйте».

— Никак правнучек, Степанида Дмитриевна? — спросила пожилая, бабушкиного возраста, женщина.

— Да, Петровна, Ефимии,— коротко ответила бабушка, не останавливаясь.

— На цыганенка похож,— пропустив Степаниду Дмитриевну вперед, сказала Петровна следовавшей следом Фиме.

— Старая дура,— зло сказала Лиза,— кроме цыган за свою жизнь никого не видела. Когда был поменьше, Ромашка гордо говорил — «я — испанец». «Ты рус-

ский,— говорила ему Фима,— запомни это!» Ромашка запомнил. Но тетя Лиза часто, лаская его, говорила — «испанчик ты наш».

Кладбище было небольшое. Могилы бабушкиных предков были в самом центре.

— Это наши,— сказала бабушка, охватывая движением руки несколько могил.— Это мой дед — Григорий Иванович, здесь мой отец — Григорий Григорьевич, это ваш дед, мой муж, Григорий, Дмитриевич, как и я. А это вот ваш отец,— сказала она внучкам,— твой дед.— Она подвела Ромашку поближе к могиле.

На старых могилах стояли каменные белые кресты, имена и фамилии были написаны красивыми, непонятными Ромашке буквами. Он умел уже читать по слогам, но эти буквы не были похожи на те, которые он знал. Недавние могилы были под деревянными крестами и на них были понятные буквы.

— Гри-го-рий Гри-горь-евич Куз-не-цов,— прочитал он нараспев.— Это мой дед.

— Молодец. Помни это,— сказала бабушка и положила на голову Ромашке свою тяжелую руку.

Постояли. Помолчали. Бабушка, крестясь, поклонилась каждой могиле. Ромашка попробовал было перекреститься, как бабушка, но у него не получилось.

Когда прощались на остановке автобуса, бабушка перекрестила внучек, трехкратно поцеловала обеих.

— Крещеный? — спросила она Фиму.

— Нет,— ответила Фима.

Бабушка не стала крестить Ромашку. Наклонилась, поцеловала в обе щеки, выпрямилась и приложила кончик головного платка к глазам.

Обратно ехали в таком же расхлябанном дребезжащем автобусе. Пыли было меньше, так как был уже вечер.

* * *

Николай Петрович, сапожник, не обманул: в Лизиной комнате был врезан замок. Лиза сбегала к нему и принесла ключ от замка и табуретку — «на обзаведение», как сказал он.

Маленькая комната «сапожком» была совершенно пуста. Только на стене висела Левитановская «Золотая осень».

Чтобы не дать волю горестным чувствам, сестры бросились обустраивать свое жильё.

— Посиди пока один, мы поищем что-нибудь. А то и есть не на чем,— сказала тетя Лиза Ромашке.

И они ушли.

Ромашка сел на табуретку и стал ботать ногами. Было скучно. Потом стало страшно. Ему показалось, что в вещах, сваленных в углу комнаты, что-то шевелится. «Крысы»,— подумал он. — Сейчас они схватят меня за ноги». Он помнил, как в Сасове, на квартире у Зинаиды Гавриловны крысы прогрызли прутья железной клетки, где она держала кроликов, и одного съели.

Он влез на табурет, вынул из ножен кортик, висевший у него на поясе, взял его, как саблю, лезвием вверх, и приготовился сражаться с крысами. Крысы не появились, но Ромашка продолжал стоять на табуретке.

— Что здесь за мальчик у нас такой появился? — услышал он ласковый женский голос. Обернулся. В открытой двери стояла темноволосая тетя и улыбалась ему.

— Я из Сасова,— серьезно сказал Ромашка.

— А я Мария Семеновна, твоя соседка. Почему ты один и как тебя зовут?

— Я Ромашка. Мама и тетя Лиза ушли за столом.

— Ромашка! Какое красивое имя.

— Нет. Я Роман Григорьевич Кузнецов.

— Вот и познакомились, Пойдем ко мне. Тебе одному скучно.

Ромашка вложил кортик в ножны и слез с табуретки.

Комната Марии Семеновны была большая, больше, чем комната Ромашки. Также везде были следы недавнего въезда. Ворох вещей по углам. Стопки книг, картины, прислоненные к стене.

— Садись сюда,— сказала ласковая тетьа.— Чем бы тебя развлечь? Ты любишь музыку?

Не зная, что ответить, Ромашка молчал. Сел в черное кожаное кресло, положил кортик на колени.

Мария Семеновна подошла к черному, блестящему от солнца ящику, похожему на длинный комод, открыла крышку, села и стала пальцами перебирать черные и белые плашки.

Зазвучавшая музыка произвела на Ромашку неожиданное действие. Его лицо охватило жаром. Внутри у него все похолодело. Он встал, подошел к Марии Семеновне и, как замороженный, смотрел на ее пальцы, на ее лицо, на черный длинный «комод», из которого вылетали звуки, наполнявшие его неведомым ранее удовольствием.

Мария Семеновна взглянула на Ромашку.

— Роман Григорьевич Кузнецов, да ты музыкально одаренный мальчик,— она повернулась к нему на вертящемся круглом стуле.

— Игратьте еще,— тихо, настойчиво попросил Ромашка.

— Проверим, слух у тебя есть. Слушай.

Она одним пальцем сыграла — «Во поле березонька стояла».

— Теперь пропой мне эту мелодию.

Ромашка пропел.

— Прекрасно,— сказала Мария Семеновна, смешно выговаривая букву «р».— А чувство ритма у тебя есть?

Она пальцем постучала по крышке пианино.

— Теперь ты.

Ромашка тоже постучал пальцем по крышке пианино.

— Великолепно, мальчуган!

Эта необыкновенная тетьа и говорила необыкновенно.

Когда Фима и Лизы вернулись, к ним вышла Мария Семеновна.

— Будем знакомы — Мирра Семеновна, ваша соседка. Мой муж работает на КИМе инженером. Ваш сын,— продолжала Мария Семеновна, безошибочно обращаясь к Фиме,— музыкально одаренный. Его надо учить музыке.

— Музыке? Нам спать не на чем,— ответила Лиза.

— Это пока. Все образуется.

Ночью, лежа между мамой и тетьа Лизой на разостланном на полу пальто, Ромашка долго не мог уснуть. Вновь переживаемые впечатления этого удивительно длинного, полными событиями дня гнали от него сон.

Ранее просыпание, толчея на вокзале в Сасове, суматошная посадка в вагон, мелькание за окнами домов, людей, грохот проезжаемых мостов через речки, дальние деревья, весело бегущие впереди наперерез поезду, дым паровоза, проносившийся за окнами и время от времени наполняющий вагон едким запахом, коричневый чай в стаканах с подстаканниками, долгая утомительная езда, когда становилось скучным даже глядение в окно, серые усталые лица соседей по лавке, разговаривающие о чем-то своем, непонятном, бесцельное хождение по вагону мимо свисающих с лавок рук и ног пассажиров.

Потом Москва. Огромный, как гора, вокзал. Стена людей, мимо которых надо протискиваться. Страх мамы и тети Лизы, что он, Ромашка, потеряется или что-нибудь у них украдут. Перетаскивание вещей — мама сажала Ромашку на узлы, а

сама шла к тете Лизе за очередным узлом, потому что тете Лизе нельзя было таскать тяжести, у нее сразу синели губы.

А потом езда на метро. Мама с тетей Лизой нервничали, что Ромашка непременно потеряется, поэтому метро разглядеть как следует не удалось. Осталось только впечатление, что он видел дворец, какой увидеть можно только во сне. А еще в метро за окном ничего нельзя было разглядеть, только в темноте по стене струились серые канаты.

После метро был автобус. Не такой, как тот, на котором они ездили в деревню к бабушке Стеше. Не расхлябанный и дребезжащий, а почти новый, с мягкими сидениями. На автобусе ехали мимо больших-пребольших домов. Таких больших, что Ромашка даже не предполагал, что такие большие дома бывают не свете. А потом дома стали меньше и меньше, почти такие, как у них в Сасове, одноэтажные. И тетя Лиза сказала — «приехали». Они опять стали суматошно выносить узлы из автобуса. Жить им предстояло в совсем маленькой пустой комнате. Ромашка вспомнил большой просторный дом бабушки Стеши. Хорошо, что крыс нет в этой комнате...

Но самым запомнившимся впечатлением о прошедшем дне была музыка. Как это в таком черном «комоде» могут быть такие красивые звуки?! Конечно, он и раньше слышал музыку. Из радио — черной тарелки, висевшей на стене в комнате Зинаиды Гавриловны там, в Сасове. Из этой тарелки вылетали песни, марши, взрослые слушали сообщения с войны. Никто не играл на этой черной тарелке, никто к ней не прикасался, разве что повернуть ручку, сделать погромче. Звуки сами вылетали из нее. Что она играла, то и слушали. Поиграть самому было нельзя. А на черном «комоде» можно играть, что хочешь. Слышанные днем у Марии Семеновны звуки так явственно звучали для Ромашки, что он снова почувствовал жар на лице и холод внутри себя. Неужели можно самому научиться играть на этом чудесном инструменте!? И слушать, когда захочешь, эти звуки!?

Небесной красоты мелодии звучали в ушах Ромашки, когда он засыпал.

* * *

Школа была далеко, на другом конце поселка.

Когда Ромашка с Фимой пришли записываться в первый класс, к завучу была очередь.

— Фамилия, имя, отчество, отец, мать. Кем работают. Адрес. Национальность, — спрашивала детей строгая худая женщина в сером платье.

Ребятишки старались отвечать сами.

Про отцов часто говорили — «погиб на фронте». Редко — «пропал без вести».

Дошла очередь до Ромашки.

— Ромашка... Роман, — быстро поправился Ромашка, когда женщина в сером платье недоуменно на него взглянула. — Григорьевич, Кузнецов. Маму зовут Фима, Ефимия. Она тоже Кузнецова...

Последовала пауза.

— Отец?

Ромашка посмотрел на Фиму.

— Отца нет, — ответила она.

— Погиб: Пропал без вести?

— Нет. Я мать-одиночка.

— Хорошо, кем, мамаша, работаете?.. Или не работаете?

— Работаю сторожем на заводе КИМ.

— Адрес? — женщина в сером снова обратилась к Ромашке.

Ромашка посмотрел на Фиму.

— Мы недавно приехали из эвакуации, мальчик еще не знает. Четвертая улица, дом два, квартира четыре.

— Национальность?

— Русский, — поспешно за Ромашку ответила Фима.

Из школы долго шли молча. Фима чувствовала себя виноватой перед сыном, перед самой собой, перед Грегором. Пришлось сказать неправду. Скрывать, кто был ее муж, его, Ромашки, отец. Кому можно сказать, каким замечательным человеком был ее Грегор?! Как он радовался, когда родился сын. Целовал ее руки, целовал ее колени. Благодарил ее за сына торопливыми ласковыми словами, часто сбиваясь на иностранный язык. Как счастлива она тогда была. Это было счастье — полное и спокойное — любимой женщины, выполнившей свой главный в жизни долг перед любящим мужчиной. Впервые почувствовала, что она, Фима Кузнецова, может сделать счастливым иностранного человека, Грегора Майкота, умного, много знающего, делающего какую-то серьезную важную работу... Когда вечерами она, уже в постели, видела, как он сидит, склоненный над бумагами и книгами, читает и что-то пишет, и звала его, говоря, что уже поздно, надо отдыхать, он тут же бросал все. Шел к ней. Она своими теплыми сильными руками обнимала его, и он, задыхаясь от счастья, говорил — о, Фима! Воспоминания об этом даже сейчас, спустя столько лет, обдавали жаром ее лицо. Непонятно почему она вспомнила Павла Ивановича, бригадира Пашу — скучного человека с белыми пухлыми, как у женщины, руками. Стань он ее мужем, скрывать было бы нечего. Фамилия, имя и отчество отца ребенка — Павел Иванович Евтюхов. Вопросов нет. Она содрогнулась от одной мысли об этом. Тогда бы не было Ромашки, ее чудесного, умного, ласкового, как его отец, сына.

И вот сейчас в присутствии сына она, Фима, отказалась от Грегора. Сказала, что отца у ребенка не было. Что она не хочет знать, кто был отец ее сына. Фима вспомнила, как часто и с издевкой приходилось слышать — не «мать-одиночка», а «мать-одна-ночка». Это было так унижительно, оскорбительно, гадко. Она любила своего Грегора. И он был счастлив от ее любви. У них было много ночей, а вовсе не одна. Фиму душило возмущение... Они зарегистрировали свой брак. Были бумаги. Она сожгла их по совету Марии Петровны. В войну все могло быть — документы пропали. Выхлопотала себе новый паспорт, вписала в него сына Романа Григорьевича Кузнецова. А в графе «отец» — прочерк. Так лучше, чем Грегор Майкот. Так сказала Мария Петровна... Но что же это меняет?! Грегор был. Был! Не безымянный мужчина залез в ее постель на одну ночь. Нет! Был муж, была семья. Счастливая семья. Было, все было у нее, у Фимы Кузнецовой.

С кем-то неведомым спорила Фима, пытаясь доказать свою правоту. Но этот кто-то был глух и равнодушен к ее доводам: «мать-одиночка» и все. Может быть даже «мать-одна-ночка». Ничего, так тоже бывает.

Фима готова была разрыдаться.

— Мама, а что такое «мать-одиночка»? — спросил Ромашка.

Из разрозненных, вскользь сказанных фраз —тети Лизы, соседок, бабушки Стеши — он знал, что отец у него был, настоящий отец. Но понимал также, что его отец был не как все. Он и сам, Ромашка, не как все ребята. Его дразнили то цыганом, то татаринном, а после того, как кончилась война, евреем.

— Это когда нет отца?

— Отец бывает всегда. — ответила сыну Фима. — Твоего отца убили.

— На фронте?

— Да, — поколебавшись ответила Фима. — На фронте.

— Что же ты не сказала об этом в школе?!

— Его убили на другой войне. Не на этой, а на другой. А другая — не считается.

— Почему не считается?

— Откуда я знаю. Не считается — и все.

Они шли от школы на другой конец поселка к своему дому. Поселок был большой, но дома в нем были только одно- и двухэтажные. Каждый день через поселок проходила колонна солдат. Иногда проходили такни, вызывая восторг мальчишек. В Кузьминках, недалеко от поселка Текстильщики стояла воинская часть. В двух оврагах, спускавшихся к большому Люблинскому пруду лежали, как белые глыбы льда, серебристые аэростаты — воздушное заграждение неба Москвы от немецких самолетов во время войны. Также каждый день в поселок пригоняли колонну пленных немцев. Они восстанавливали разрушенные дома и строили новые.

— Я, когда вырасту, буду воевать на настоящей войне, которая считается,— после долгой паузы сказал Ромашка.

* * *

Жизнь постепенно налаживалась.

Фиму, как инвалида третьей группы, не взяли работать по специальности, за станком. Предложили сторожем при заводууправлении. Дежурства, сутки через двое. Она без сожаления приняла это предложение. Если раньше, в больнице, когда ей сказали, что прежнюю специальность надо забыть, она расстроилась и проплакала всю ночь, то теперь спокойно отнеслась к тому, что придется работать сторожем.

Что-то изменилось в ее отношении к жизни. Не хотела возвращаться к той работе, которая была раньше, при Грегоре. Грегора нет и все должно быть по-другому.

У Лизы была инвалидность второй группы. Можно работать только надомницей. Но что Лиза могла делать на дому? Сидеть с Ромашкой? Так и было. Когда Фима была на дежурстве, тетя Лиза кормила Ромашку, снаряжала в школу.

Фимины зарплата была небольшой. Выручала военная пенсия за Анатолия. Жить было можно. Купили подержанную зингеровскую ручную машинку. Фима, сноровистая, быстро научилась шить. Ромашка был весь обшит мамой — брюки, курточка, на зиму пальто. В дело шли гимнастерки, шинели, которыми расплачивались солдаты за махорку. Все перекрашивалось и шло в дело.

Махорку в мешке привозила из Сасова тетя Поля. За махоркой приходили солдаты из воинской части, что стояла в Кузьминках. Лиза насыпала им в кисеты душистую, до чихания, махорку, а они расплачивались заграничными консервами, гимнастерками, а то и шинелью. Вот из них-то Фима и шила одежду Ромашке, а иногда что-нибудь и себе с Лизой.

За махоркой приходили не только солдаты. Приходили командиры с золотистыми погонами и ремнями на груди. Ромашка не любил их. Они громко топали сапогами, громко говорили. От их больших тел становилось тесно в их маленькой комнатке «сапожком». Они пытались маму и тетю Лизу посадить себе на колени. Фима и Лиза терпели их, потому что за махорку они расплачивались мясной тушенкой, сгущенным молоком, иногда шоколадом.

Больше всего Ромашке не нравился майор дядя Жора. От него пахло одеколоном, но он был некрасивый и толстый. Приходил чаще всего, когда дома после дежурства была мама. Совал Ромашке шоколадки, сажал к себе на колени, гладил маму по спине. Ромашка брал шоколадки неохотно, и однажды отказался взять. Тогда дядя Жора согнал его со своего жирного колена и сказал — «сукин кот». Когда дядя Жора уходил, мама вышла вслед за ним и через некоторое время вернулась вся красная. Больше дядю Жору Ромашка не видел.

А вот к тете Лизе приходил капитан Николай. Он был высокий, белокурый и очень веселый. Ромашка всегда был рад его приходу. Сначала тетя Лиза брала с собой Ромашку, когда капитан приглашал ее погулять. Они ходили по поселку. В середине Ромашка. Капитан Николай рассказывал всякие смешные истории про войну,

анекдоты, которых знал множество, сажал Ромашку себе на плечи, прямо на погоны, смешил тетю Лизу. Тетя Лиза, обычно грустная, смеялась, и Ромашка видел, что ей, в самом деле, смешно.

Потом они перестали брать с собой Ромашку на прогулки. А еще через некоторое время капитан Николай перестал приходить, и тетя Лиза опять стала грустная.

* * *

— Фрицев ведут! Фрицев ведут!

Заслышав эти, каждый день раздававшиеся крики мальчишек, Ромашка выбежал на улицу.

По дороге мимо их дома шла нестройная колонна пленных немцев. По бокам колонны шли солдаты с закинутыми за спину винтовками со штыками. Шаркающие сапоги немцев поднимали пыль с дороги, и оттого они казались еще более серыми в своих серых мундирах.

Каждый раз колонну сопровождали стайки мальчишек. Это повторялось изо дня в день. Первый, кто увидит немцев, кричал на весь двор: — Фрицев ведут! — и мальчишки сбегались к дороге.

В середине поселка колонна рассыпалась на группы, и в сопровождении конвоиров эти группы расходились на разные работы. Одни разбирали завалы разбомбленных домов, другие рыли вручную фундаменты для новых, третьи клали кирпичи на готовые фундаменты. Когда у пленных наступал перерыв в работе ребяташки обступали их. Немцы вблизи не были страшными. Усталые небритые лица, заискивающие глаза. Старались расположить к себе ребят. Дарили оловянные пуговицы от своих мундиров, показывали карточные фокусы, мастерили нехитрые игрушки, выстругивая их из дерева необыкновенно красивыми перочинными ножами. По-русски пленные не знали. Говорили только «гут» и «йа-йа». Перерыв заканчивался, немцы шли работать, мальчишки расходились по своим мальчишеским делам.

— Фрицев ведут!

Ромашка всегда выбежал на этот крик из дома. Присоединялся к мальчишкам, бежал рядом с колонной, дразнил немцев.

В этот раз в кармане у него была рогатка. Поднял с земли камень, вложил в рогатку, растянул резину и, не целясь, выстрелил в колонну.

— Есть! — торжествующе крикнул он, когда в колонне молодой немец вздрогнул, повернул к нему свое лицо, и Ромашка увидел на его лбу кровь. Немец поморщился и жалостливо улыбнулся Ромашке, в руке которого еще трепетала рогатка.

— Есть.— Теперь уже тихо и испуганно прошептал Ромашка.

Он стрелял по колонне. По всем «фрицам» сразу. Не думал, что попадет в кого-то. Просто стрелял «по врагу». Но попал всего в одного человека, и у этого человека на лице появилась кровь.

— Молодец, Ромашка, попал! Дай мне! — кричали наперебой ребята.

Ромашка засунул рогатку в карман и пошел домой.

— А ваш Ромашка фрица подбил,— сказали Фиме ребята, когда она вечером возвращалась с работы.

— Как это «фрица подбил»? — спросила она, останавливаясь в дверях подъезда.

— А из рогатки. Прямо в лоб. Кровь пошла,— торопливо говорили мальчишки.

Фима не стала сразу вершить суд и расправу. Ромашка был добрый мальчик и послушный. Фима не знала с ним горя. Он, как и многие другие, рос без отца. Но двор не затягивал его. Он не приносил домой бранных слов. Только однажды он назвал Фиму «курвой». Она объяснила ему, что это мерзкое оскорбительное слово. Что слова, которые говорят, когда ругаются или хотят оскорбить другого, плохие и употреблять их не надо: «Твой папа никогда бы так не сказал». Фима тогда улыбнулась.

Вспомнила сцену на танцплощадке в Нескучном саду в том далеком тридцать шестом году, когда Грегор употребил «русский мат». Сказал же, подумала она, но ведь не как брань, а для того, чтобы защитить ее, Фиму, от оскорбления.

Конечно, Ромашка проказничал, как все мальчишки. Приходил с синяками или с ссадинами. Однажды пришел с дыркой на штанах — лазал на дерево. Но чтобы бить кого-нибудь, да еще до крови, такого не было никогда.

Вечером, моя сыну голову над тазиком, как бы невзначай спросила:

— Ты зачем немцу голову разбил до крови?

— Я нечаянно. Стрелял просто так, а попал в него.

А потом вдруг сердито, повернув к Фиме лицо, на котором белым пухом висели гроздя мыльной пены:

— Они моего отца убили!

— Кто они?

— Немцы! — сердито выкрикнул Ромашка.

Продолжая мыть голову сыну, Фима молчала.

Когда мытье закончилось, Фима поставила сына между колен и, вытирая ему голову полотенцем, сказала медленно

— Твоего отца убили не они, не немцы.

— А кто же тогда? — строго спросил Ромашка.

— Я не знаю, кто. Я знаю, что не немцы, — сказала Фима и пожалела, что затеяла этот разговор.

Тоже чувство вины перед сыном, что было тогда, в школе, охватило ее вновь. Но в этот раз это чувство смягчалось тем, что она, в самом деле, не знала, кто убил ее Грегора. Не знала, кто конкретно это сделал. Слухи ходили разные. Но она не прислушивалась к ним. Не знала и не хотела знать. Так посоветовала Мария Петровна. А она была умной женщиной.

— Я, правда, не знаю, кто убил его, — сказала она. — Иногда так бывает. И никто тебе не скажет этого.

— Так не бывает. Когда я вырасту большой, я узнаю сам.

— Хорошо, — сказала Фима, — только не стреляй больше в немцев.

Утром следующего дня Ромашка снова выбежал на улицу, заслышав крики мальчишек:

— Фрицев ведут!

В кармане у него был рогатка.

Он бежал рядом с колонной и высматривал молодого немца с раной на лбу. Разыскать его в колонне среди покачивающихся в ходьбе серых от пыли людей не удалось. Только когда пленные расположились на отдых он, переходя от одной группы к другой, нашел «своего фрица». На бледном лбу была ссадина, помеченная «зеленкой».

Ромашка остановился перед ним. Немец поднял глаза и вопросительно посмотрел на русского мальчика.

Ромашка достал из кармана рогатку, бросил ее на землю и наступил на нее. Она хрустнула и сломалась.

Немец заулыбался.

— Йа-йа, — сказал он. Потом достал из кармана серого френча что-то и протянул Ромашке.

Ромашка протянул руку и взял.

Это была фигурка белого фарфорового ангелочка, с крылышками, держащего в руках позолоченную лиру.

— Вот это да! — воскликнул Ромашка, разглядывая подарок немца. Такой красивой вещицы у него никогда не было.

С зажатым в кулаке ангелочком Ромашка бросился домой.

— Мама, дай скорее хлеба! — выкрикнул он, с шумом распахивая дверь комнаты.

С куском черного хлеба он выбежал из дома. Перерыв кончился. Пленные немцы вставали с земли. Отыскав «фрица» с «зеленкой» на лбу, Ромашка протянул ему хлеб.

— Йа-йа, спасибо,— старательно выговорил немец русское слово. Протянул Ромашке руку.

Руку немца Ромашка пожимать не стал.

* * *

Ближе к весне Мария Семеновна, соседка по коммунальной квартире, спросила Фиму:

— Как учится Роман Григорьевич?

— Хорошо,— ответила Фима.

— Пятерки, немножко четверок,— добавил Ромашка.

— Прекрасно,— сказала Мария Семеновна, смешно выговаривая букву «р». — значит, можно заниматься музыкой.

С этого момента в жизнь восьмилетнего смуглого, черноволосого мальчугана вошла музыка, сделавшись главным удовольствием его мальчишеского бытия.

В дни, когда предстоял урок музыки, Ромашка с нетерпением посматривал на часы, стремглав бежал из школы после окончания уроков, перекусывал на ходу, умывал лицо и руки, так требовала Мария Семеновна, и с волнением, предвосхищая неизъяснимое удовольствие, переступал порог большой красивой комнаты и подходил к пианино.

Ромашка делал поразительно быстрые успехи. Мария Семеновна разрешала ему днем, после уроков, до прихода с работы мужа, заниматься самостоятельно. Кроме упражнений и пьес, которые задавала Мария Семеновна, он сам разучивал новые пьесы.

— Роман Григорьевич,— говорила она,— ни одной ошибки — и фразировка, и паузы, и пальцы!

— Марк,— говорила Мария Семеновна мужу,— посмотри на этого вундеркинда. Я не шучу! Ты видел, чтобы кто-нибудь через полгода играл сонатину Бетховена!?

Муж Марии Семеновны, Марк Львович, уса́тый неторопливый человек, усаживался в кожаное кресло и покорно слушал Бетховена.

В первый раз, послушав игру Ромашки, он сказал:

— Недурственно, недурственно. Но музыкантом становиться не советую. Мужчине должен иметь дело с железом.

— Не слушай Марка Львовича, Роман Григорьевич. У тебя большие способности и их надо развивать. Совершенно не обязательно всем мужчинам быть инженерами.

— Люди гибнут за металл,— сильно фальшивя, пропел Марк Львович.— А не за музыку, молодой человек.

— Ты видишь, Роман Григорьевич, у Марка Львовича совсем нет музыкального слуха, поэтому и не считает музыку серьезным занятием.

— Музыка для девиц и благородных барышень,— засмеялся Марк Львович. Изпод его пышных усов появились большие желтые зубы.

— Все великие композиторы были мужчины,— сказала мужу Мария Семеновна.— Впрочем, спорить с тобой бесполезно.

— Так то великие,— не сдавался Марк Львович.

— Не слушай, Роман Григорьевич. Марк Львович инженер, законченный железочник. Кроме железок, его ничего не интересует.

Этот разговор никак не повлиял на Ромашку. Ему была нужна музыка каждую минуту. Она заполнила все его свободное время. Если не играл на пианино, слушал музыку по радио, запоминая названия музыкальных произведений, имена композиторов, записывая в специально выделенную для этого тетрадь либретто опер. С этой тетрадью не расставался, брал с собой в школу. Открывал ее, улучив минутку, и мелодии любимых опер начинали звучать в его ушах.

Фима радовалась и боялась за сына. Она была уверена, что он не может быть просто обыкновенным мальчиком. Но что с ним будет? Этот вопрос все больше и больше беспокоил ее. Ей, потерявшей Грегора навсегда, ее Рамон, Ромашка, необыкновенный мальчик, был единственная награда за недозволенную любовь. Теперь всю любовь к Грегору, которую она не успела растратить и на одну десятую долю, перенесла на сына, так похожего на любимого человека.

Оттого в ее сердце был постоянный страх за Ромашку. Боязнь его потерять. Если он долго не возвращался с улицы или из школы, она шла искать его, и если не находила сразу, могла в поисках его обойти весь поселок.

Увлечение сына музыкой было для Фимы неожиданным. Она думала, что он будет, как Грегор, журналистом, ученым, будет писать статьи, ездить по стране. А она будет его ждать. Но у него, оказывается, музыкальные способности. Ну что ж. Ромашка будет писать музыку, песни, а она, Фима, будет слушать их по радио и говорить всем, что эту музыку написал ее сын.

Когда Мария Семеновна уходила из дома, она часто оставляла Ромашке ключ, чтобы он в ее отсутствие мог поупражняться на пианино. Ромашка звал Фиму, если она была дома, и играл ей разученные пьесы.

Фима садилась в кожаное кресло и не сводила глаз с его пальцев, быстро перебирающих клавиши, черных волос, свисавших со лба, когда он наклонялся к клавиатуре, сосредоточенного серьезного лица.

Музыка, рождавшаяся под пальцами сына, отличалась от той, которую она слышала по радио. Она нравилась ей все больше. Была пьеса, которую она любила особенно.

— Как называется? — спросила Фима.

— Песнь Сольвейг.

— Это что такое?

Ромашка знал. В его тетради был записан сюжет Пер Гюнта.

— Это музыка Эдварда Грига к Пер Гюнту. Это такая пьеса. В ней рассказывает о том, как некто Пер Гюнт, такой молодой человек, поженился на девушке по имени Сольвейг. А потом ушел странствовать. И странствовал долго-долго. Он вернулся домой, когда Сольвейг стала уже старая. А она его ждала и замуж снова не выходила... Потому и мелодия такая грустная. Но она самая легкая. Другие пьесы из Пер Гюнта трудные, я их потом буду разучивать с Марией Семеновной.

Фима боялась, что Мария Семеновна потребует денег за занятия с Ромашкой. Но та отказалась брать какие-либо деньги. Фима предложила что-нибудь постирать, прибраться в комнате. Та согласилась.

* * *

В школе принимали в пионеры.

В физкультурном зале построили два третьих класса.

Заранее ни о чем не предупредили. Сказали просто, чтобы завтра приходиться в белых рубашках. У кого есть. Утром после второго урока повели всех в физкультурный зал. Посередине стоял длинный стол. На нем лежали сложенные в стопку красные галстуки и россыпь значков. За столом стояли директор школы, завуч и девушка в белой блузке с красным галстуком на груди, которую ребята видели впервые.

Надо ли быть пионером, Ромашка не знал. Принимали всех подряд. Девушка в белой блузе стала объяснять, как надо отдавать пионерский салют. Надо взметнуть правую руку, как саблю, над головой, а потом опустить и сделать «руки по швам». Ребята тренировались друг перед другом. К тому, у кого получалось неправильно, подходила девушка в белой блузе, поправляла. Ребята толкались, хохотали, дразнили друг друга. Было весело. Веселье заразило и Ромашку.

— Роман Кузнецов.

Ромашка вышел из строя, громко топая каблуками, подошел к столу.

Пионервожатая Люся, девушка в белой блузе, повязала красный галстук ему на шею, прикрепила значок на рубашку.

Отступив на шаг, сказала — «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!» «Всегда готов!» ответил Ромашка. Он нечаянно, по давней привычке поднес напряженную ладонь к виску, но быстро поправился и взметнул, как саблю, перед лицом правую руку.

Когда приняли всех, на патефоне, стоявшем на столе, завели, как сказала пионервожатая, песню первых красных пионеров «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих». Пионервожатая стояла перед строем и пела. Пели директор и завуч. Ребята не знали слов.

Песня кончилась. Директор сказал:

— Ребята, вы теперь пионеры и должны быть примером для остальных ребят. Не деритесь на переменках, соблюдайте чистоту в школе, соблюдайте личную гигиену и, конечно, хорошо учитесь.

За директором говорила завуч. Она сказала, что если кто из пионеров будет плохо учиться, у того отберут галстук и исключат из пионеров. А это позор.

На этом церемония принятия в пионеры не закончилась. Сделав паузу после своего обращения к пионерам, завуч сказала:

— У кого отцы погибли на фронте сейчас пойдут в столовую, там вас покормят. За столом не озорничать.

Ромашка был в недоумении. У него отец погиб на фронте, только не на том фронте, который считается. «Но какая разница,— думал Ромашка.— Он же воевал за наших, а не за немцев». И он встал в группу тех, кто направлялся в столовую. Его никто не остановил.

В столовой ребята обдал волнующий запах еды.

Столы были сдвинуты в один длинный стол. Подали настоящий обед. На первое — суп из горохового концентрата. На второе — перловую кашу с настоящей американской мясной тушенкой, на третье — чай в стаканах и к нему конфеты-подушечки, начиненные коричневой патокой. Ели быстро, почти не разговаривая.

— Чего хлеб такой тонкий — Кремль видно? — раздалось на дальнем от Ромашки конце стола. Мальчишка из другого класса стоял, держал ломтик хлеба и смотрел через него на окно.

Над столом прыснул ребячий смех.

— Карпов, не паясничай,— строго сказала завуч.

Директор кивнул раздатчице, та принесла куски хлеба потолще и разложила их по одному перед ребятами.

— Теперь не видно,— сказал мальчишка на другом конце стола.

— Карпов,— прикрикнула завуч, уже не так строго, как в первый раз.

Сытые и довольные ребята выходили из-за стола.

В классе их ждал еще один сюрприз. К концу последнего урока дежурные разнесли и разложили по партам каждому по бублику и конфете-подушечке с начинкой их патоки. Бублики и конфеты получили все, и те, отцы которых не погибли на фронте. Ни о каких задачах думать было невозможно. Взгляд сам, не слушаясь, сползал со страницы учебника на бублик и конфету.

— Ладно уж, уничтожайте свои пионерские подарки,— сказала учительница, закрывая журнал.

В то же мгновение бублики и конфеты исчезли с парт.

Расходились из школы довольные.

— Всегда бы так,— сказал тот самый Карпов, который через хлеб пытался увидеть Кремль.

Вечером того же дня Фима сидела рядом с раскладушкой, на которой спал сын и разглядывала его пионерский галстук. Собственно, не рассматривала, а машинально перебирала пальцами красную материю.

Она думала о том, что вот и сын стал на ту самую дорогу, по которой шел его отец, ее Грегор. Пионер, потом комсомолец, потом — партия. Потом... Страшно подумать, что может быть потом. Как Грегор?..

С каким жаром и восхищением Ромашка рассказывал о приеме в пионеры! С каким восторгом, вскидывая руку, как саблю, показывал, как надо отдавать пионерский салют. Фима вспомнила, как точно также ее Грегор с горящими от возбуждения глазами говорил ей о том, что здесь в России строится новый, лучший мир, в котором все будут счастливы, что переживаемые трудности и жестокость властей — дело временное, болезнь роста, роста молодого народного государства. Что он завидует тем, кто будет жить в России через пятьдесят лет, нет, раньше! Тогда Фима слушала почти равнодушно, что зажигало Грегора еще больше. Он хотел, чтобы она, его жена, гражданка Страны Советов, горела тем же огнем нетерпения, с каким он жаждал скорейшего наступления светлого будущего. Но Фима не зажигалась. Ее больше беспокоило будущее ее сына, присутствие которого она все явственнее ощущала в своем теле. Он, ее будущий ребенок, все чаще и настойчивее давал о себе знать. Его толчки в ее чреве, как предвестники родов, становились все настойчивее. Помимо сладостного предчувствия скорого появления его на свет, ее все больше одолевали тревоги о том, как они будут жить дальше, уже втроем. Грегор витал в облаках. С пристрастием искал вокруг ростки нового общества, признаки появления нового, никогда не существовавшего ранее советского человека, ездил по стране, оставляя по неделям ее одну, до поздней ночи сидел за письменным столом, заставляя ее мерзнуть одиноко в постели. И забывал воспользоваться льготным талоном, ходил в штопанных ею, Фимой, носках. С какой радостью он узнал, что будет отцом. Но подумать о том, что понадобится этому будущему гражданину новой России после его появления на свет, не успевал.

Сидя у постели спящего Ромашки, Фима поражалась тому, как сын похож на отца. Не только внешне — смуглый, черноволосый, но и характером.

Фима, теперь уже тридцатилетняя женщина с горьким опытом любви и жизни, знала, что таких людей, как Грегор, как ее сын, не любят. Они неудобны, они мешают тем, кто не умеет или неспособен увлечься, зажечься идеей или делом. Их уничтожают в первую очередь...

— Господи! — вырвался беззвучный взглас из ее груди. Этот взглас не означал молитву или мольбу. Он означал лишь темный, жуткий страх потерять самое дорогое, что у нее осталось в жизни.

* * *

Ночью странный шум разбудил Ромашку. В полусне слышал женские и мужские голоса, топот ног, хлопанье дверей. Когда шум прекратился, Ромашка опять заснул.

Утром он спросил о причине шума.

— Тебе приснилось, — сказал Фима. Потом заплакала и сказала: — Забрали Марка Львовича.

— Куда забрали? — удивился Ромашка.

— Известно куда... Перестань расспрашивать! — неожиданно для Ромашки сердито выкрикнула мама.

— Вот почему был шум, — самому себе серьезно сказал Ромашка.

— Да, поэтому. Они всегда приходят ночью, — тихо сказала Фима.

Ромашка не стал больше расспрашивать. Почувствовал, что случилось что-то нехорошее, страшное.

Льва Марковича Ромашка видел редко. Тот приходил с работы поздно, часто ра-

ботал в выходные. Но иногда, когда Марк Львович был дома и был свободен от дел, Мария Семеновна звала Ромашку и просила поиграть для него на пианино. У нее были уже другие ученики. Она давала уроки на дому. Ромашка, Роман Григорьевич, как она его звала то ли в шутку, то ли в память первого знакомства, был ее гордостью. Он так быстро прогрессировал в технике игры, с таким жаром и так много играл, что она боялась, что он переиграет руку.

Марк Львович благодушно располагался в кожаном кресле, закидывал ногу на ногу и говорил — «послушаем юное дарование».

Ромашка уверенно садился на круглый вертящийся стул и играл. Он любил играть при слушателях.

Ромашка вскидывал руки, играя *pianissimo*, склонялся над клавиатурой, а закончив играть, откидывался назад и замирал.

— Откуда в этом простом мальчишке такой темперамент и артистизм? — недоуменно на ухо мужу говорила Мария Семеновна.

— Недурственно, недурственно,— говорил Марк Львович и громко хлопал большими сильными ладонями. В улыбке под его пышными усами появлялись большие желтые зубы.

После «концерта» Ромашку оставляли пить чай. На круглый стол, покрытый разноцветной скатертью, ставили тонкие белые чашки на таких же белых тонких, как бумага, блюдцах. На блюдцах лежали желтые чайные ложечки.

Ромашка не стеснялся супругов Голдберг. Такая была фамилия Марии Семеновны и Марка Львовича. Размешав в чашке сахар, клал ложечку на блюдце, двумя пальцами поднимал чашку и, не сгибаясь над столом, пил мелкими беззвучными глотками, как это делали Мария Семеновна и ее муж.

Марк Львович обычно за чаем заговаривал о работе, о том, как много забот у главного энергетика такого крупного завода, как КИМ. Мария Семеновна пресекала эти разговоры в самом их начале.

— Роману Григорьевичу это неинтересно,— говорила она.

Марк Львович шутливо сопротивлялся, говорил, уже в который раз, что мужчине подобает иметь дело с железом, а не с бесплотными звуками. Посопровотившись, уступал жене, видя, что Ромашка целиком на стороне советской учительницы.

Ромашке было лестно, что Голдберги разговаривают с ним, как со взрослым.

— Представь себе, что Робинзон Крузо ничего не умел бы делать, а только играл, скажем, на гитаре или волынке. Ведь он был, кажется, англичанин. Он бы погиб на необитаемом острове,— говорил Марк Львович с явным оттенком превосходства над юным музыкантом в последнюю их встречу за чаем.

— На острове и так было много звуков — шум волн, пение птиц, крики обезьян,— парировал Ромашка.— Представьте себе, Марк Львович, что на острове была бы абсолютная тишина, ни одного звука. Смог бы выжить Робинзон Крузо?

— Bravo, Роман Григорьевич,— сказала тогда Мария Семеновна,— один ноль в твою пользу.

Марк Львович улыбался, показывая большие желтые зубы,

— Недурственно, недурственно, молодой человек.— добродушно сказал он тогда.

После той ночи Ромашка понял, что этого уже не будет никогда. Ни занятий с Марией Семеновной, ни книг из их библиотеки, которые они охотно давали ему читать, ни чая из белых тонких чашечек. И разговоров за чаем с ним, как взрослым, о книгах, о музыке, о заводе и работе большого и добродушного человека с пышными усами и большими желтыми зубами тоже уже никогда не будет.

Уроков музыки больше не было. Мария Семеновна уходила из дома с утра и возвращалась поздним вечером.

Она стала опять оставлять Ромашке ключ от своей комнаты, чтобы он мог поиг-

рать самостоятельно. Спросить об уроках он боялся. На Марию Семеновну больно было смотреть. Застывший взгляд, неподвижное лицо, плотно сжатые губы.

Ромашке удалось разучить несколько пьес без Марии Семеновны. Подчиняясь своему и Марии Семеновны настроению, он разучил «Октябрь» из «Времен года» Чайковского и вторую, медленную часть из Патетической сонаты Бетховена.

В эти часы самостоятельных занятий за пианино его единственным слушателем была Фима. Она приходила в комнату Голдбергов, садилась на стул сбоку от пианино и слушала. Когда он заканчивал свои занятия, она часто просила его сыграть «Песнь Сольвейг». Фима безотчетно любила эту грустную и в средней части светлую, как бы танцевальную, мелодию. У Фимы был хороший музыкальный слух. Она могла безошибочно пропеть всю «Песнь Сольвейг» от начал до конца. Фима не знала, был ли у Грегора музыкальный слух. Музыка он любил. Кроме Большого театра, куда у него был льготный билет на двоих, они ходили в консерваторию. Там Фима научилась долго сидеть неподвижно и слушать. Особенно она любила, когда играли на рояле или скрипке. Симфоническая музыка навевала скуку. Слушая игру на рояле, она удивлялась, как это можно так быстро бегать пальцами по клавишам.

Теперь ее сын, ее Ромашка, сидит за пианино, пальцами безошибочно перебирает клавиши, и настоящая музыка звучит в обыкновенной комнате.

Жизнь Фимы была будничной и серой. Скучное сидение на дежурствах в заводоуправлении. Потом двое суток забот о том, чем накормить сына и себя, во что одеться. Лиза, как могла, помогала ей. Но сестра была больна. Приготовить еду, да накормить Ромашку — вот и все, что она могла.

Эту скучную жизнь теперь украшала музыка. Музыка ее сына, воскрешавшая воспоминания о счастливой, но такой короткой жизни вместе с Грегором.

Случившееся с Марком Львовичем еще больше обострило Фимины воспоминания о той жизни. Ей было страшно. Она знала, что этот страх имеет основания и боялась думать о случившемся.

Когда Ромашка закончил играть «Песнь Сольвейг» и сидел еще за пианино, как бы прислушиваясь к замирающим звукам, Фима подошла к сыну сзади и обняла его за плечи. «Спасибо, сынок», — тихо сказала она. Не отпуская его плеч, Фима слегка покачивалась вместе с сыном, как бы баюкая его. Плечи десятилетнего мальчика были не по годам широкие и сильные, как у Грегора, и, как у Грегора, черные волосы на его голове распадались на обе стороны на прямой пробор.

* * *

Свершились перемены и в жизни сестер. Поля больше не привозила махорку на продажу. Воинская часть, что стояла в Кузьминках, была переведена куда-то далеко, из Москвы. Пленные немцы построили три дома и больше не появлялись в поселке.

За тетей Лизой приехал капитан Коля, Николай Петрович. У него умерла жена, и он стал вдовец.

Года два назад в течение года он приходил к сестрам Кузнецовым за махоркой. Сам он почти не курил, или курил мало. Приходил из-за тети Лизы. Она ему нравилась. Прошло время, и капитан Коля стал нравиться тете Лизе. Она призналась Фиме, что всегда любила военных мужчин. Капитан был честный человек. У него была жена, и он не мог жениться на тете Лизе. Он уехал. Тетя Лиза поплакала «втихомолку», так говорила мама, и со временем привыкла к разлуке с понравившимся ей капитаном. У нее был Ромашка, всю свою неистраченную женскую любовь она отдавала ему, своему испанчику, смуглому умненькому мальчику, который называл ее «мамой номер два». Эта любовь иногда тяготила Ромашку. Нельзя было задержаться в школе или на прогулке, прийти с синяком или дыркой на штанах. Начинались расспросы, «охи» и «ахи», становилось «плохо с сердцем». Ромашка чувство-

вал себя виноватым, просил прощения, тетя Лиза обнимала его и просила «так больше никогда не делать».

И вот капитан Коля, высокий белокурый человек, приехал забрать тетю Лизу. В свои двадцать пять она из-за болезни сердца выглядела почти девочкой. Капитан тоже был вполне молод, чуть за тридцать, у него «золотые руки», на фронте был связистом, а сейчас начальник телефонного узла там, у себя в далеком городе за Уралом. Семью обеспечить может.

Все это Ромашка узнал их тихих разговоров тети Лизы с мамой, которые они вели поздним вечером, думая, что их мальчик спит. Из вечерних разговоров сестер он понял, что тетя Лиза согласна уехать с капитаном Колей в его далекий город за Урал, и что он, возможно, никогда больше ее не увидит. Ромашке было грустно оттого, что тетя Лиза уезжает от них.

Фиме тоже было жаль расставаться с сестрой. С тех пор как Лиза перенесла ревматизм, и у нее стало больное сердце, она относилась к младшей сестре по-матерински. Отъезд Лизы означал также, что Ромашка останется без присмотра. Но Ромашка уже большой, одиннадцать, умный, послушный. «Не пропадете»,— успокаивала сестру Лиза.

Фима соглашалась с Лизой

«Не пропадем. Как-нибудь все образуется». Сестре надо устраивать свою жизнь, не вечно же ей быть нянькой Ромашки. После войны мужчины избаловались, нарасхват, холостых девушек и молодых женщин сколько угодно. А тут Николая берет Лизу, больную, может быть, бездетную. Он знает все и на все согласен. Лишь бы Лиза вышла за него. Два года ждал. Срок немалый. Стало быть, любит по-настоящему. Николай признался, что у него есть годовалая дочка. Тем лучше. Все складывается хорошо — любящий мужчина, ребенок, хоть и не свой, но маленький, будет звать мамой.

Сестры решили, что Лиза должна выйти за Николая.

Решили расписываться там, у Николая, а не в Москве.

До отъезда дядя Коля стал бывать у них каждый день. Брал Лизу, а за одно и Ромашку, и они ехали в Москву, в город. Текстильщики хоть и считались Москвой, но какая же это Москва, так, скучный поселок.

Для Ромашки настали золотые деньки. Они ходили в зоопарк, Третьяковку, парк культуры Горького, катались на речном трамвайчике по Москва-реке.

Когда тетя Лиза уставала, они оставляли ее на скамейке, а сами шли посмотреть зверей или катались на качелях. Дядя Коля так высоко взметал Ромашку вверх, что у того дух захватывало и ноги становились, как ватные, но он терпел и не подавал виду, что боится.

— Держись, испанец! Но пасаран,— кричал дядя Коля. Белые волосы то падали ему на лицо, то отлетали назад, он хохотал. Глядя на них, смеялась тетя Лиза, смеялась Ромашка, подавив свой страх. В тире дядя Коля учил Ромашку стрелять из пневматического ружья. Ромашка старался, но попадал редко. За каждый удачный выстрел в награду он получал еще одну пульку. Потом они катались на лодке и кормили белых лебедей кусочками булки.

На речном трамвайчике дядя Коля усаживал Лизу, укрывал ее своим пиджаком, чтобы не продуло, и приносил ей и Ромашке из буфета ситро и мороженное в вафельных стаканчиках.

За четыре года, что он прожил в Москве, Ромашка впервые увидел Кремль, Мавзолей, Красную площадь покатался вволю на метро.

К вечеру дядя Коля привозил их домой усталыми, но довольными.

Эти пять дней перед расставанием с тетей Лизой были для Ромашки настоящим праздником, который, к сожалению, был коротким и должен был закончиться грустно.

Вещей у тети Лизы набралось мало. Фима отдала ей как приданное кое-что из то-

го, что когда-то Грегор брал для нее по льготным коминтерновским талонам. Красивую блестящую блузку, плащ и туфли. Фима надевала их редко. Берегла. Но и, конечно, стеснялась носить. Слишком они были иностранные, обращали на себя внимание. С Грегором еще можно было. А без него... А без него ей ничего не надо. Вещи поэтому имели еще вполне приличный вид. «Не голую же тебя отдавать», — сказала Фима сестре.

Рано утром дядя Коля приехал за тетей Лизой на такси. Все вместе поехали на Казанский вокзал. Тот самый, на который они приехали в Москву из эвакуации четыре года назад. Огромный вокзал, как и тогда, был полон народа. Так же, как и тогда, боялись растеряться в толпе.

Дядя Коля увозил Лизу в купейном вагоне. Ромашка вспомнил вагон, в котором они приехали в Москву, он назывался общим, и удивился, как уютно может быть в поезде и очень удобно, можно было даже лежать.

Дядя Коля вынул из чемодана бутылку шампанского, с шумным хлопком ее открыл и налил всем, и Ромашке, шипящее вино в стаканы с подстаканниками.

— За любовь, за счастье! — сказал он и расцеловал всех, начиная с тети Лизы.

Когда по радио объявили, что провожающим надо выйти из вагона, они стали обниматься, опять целоваться. Мама и тетя Лиза стали вытирать слезы.

На перроне Фима и Ромашка долго махали вслед уходящему поезду.

Грустными, очень грустными, они ушли с перрона.

* * *

Наступившая зима была для Фимы и Ромашки трудной. В дни Фиминых суточных дежурств на заводе Ромашка оставался один.

Ранним зимним утром, еще было темно, он вставал, шел на кухню, на керогазе, этого Фима боялась больше всего, грел чай, завтракал и выходил на улицу. В темноте он вливался в стайку ребят.

Ждали, когда все соберутся. Здесь были и первоклашки и ребята постарше. И через весь поселок на другой конец шли в школу.

В домах зажигались огни. Темные силуэты людей появлялись на улице, хрустко шагали по мерзлому снегу, спешили к автобусной остановке. Это были рабочие завода КИМ.

Ребятам всем вместе идти было не страшно. Только первоклассники боялись темноты и, чтобы не отстать, забегали вперед и путались под ногами у ребят постарше. Кто-то на ходу доедал свой завтрак. Чаще всего это был ломоть черного хлеба. Затевалась игра.

— Хочешь хлебца? — спрашивал идущего рядом мальчишку обладатель аппетитно пахнущего на морозце ломтя. И быстро, чтобы тот не успел ничего сказать, говорил:

— Не хочешь, не надо.

Эта игра в «хочешь — не хочешь — не надо» была единственным развлечением идущих по темным улицам пробуждающегося поселка мальчишек.

Тот, кто не успел сказать — «хочу», говорил — «ладно, дай откусить». Тогда жующий ставил палец близко к краю куска хлеба, чтобы не откусили много, и протягивал просящему. Есть ребята хотели всегда.

В школе обеды на большой перемене стали постоянными.

Однажды завуч сказала Ромашке:

— Кузнецов, не ходи на обеды. Твой отец погиб не на фронте, а неизвестно где.

Повзрослевший Ромашка отнесся к отлучению от еды спокойно. Есть, конечно, хотелось, особенно сильно, когда ребята уходили в столовую. В классе оставалось их, без права на обед, человек пять.

Бублики с конфетами на последнем уроке раздавали всем.

На Октябрьские и Первое Мая в магазине давали муку, по килограмму в одни руки. Для ребят это было веселое время. Очередь занимали с ночи, чтобы к утру, когда открывался магазин, достался заветный килограмм. Получив на ладонь порядковый номер, написанный чернильным карандашом, ребята разбежались по поселку. Можно было гулять всю ночь. Играли в войну, стреляли, сражались деревянными саблями. Играли в прятки, «салочки». Набегавшись, садились на ступеньки магазина и рассказывали друг другу всякие истории. Чаще всего про войну, про своих отцов — живых и погибших, про их ордена и медали. Во время этих разговоров про войну и отцов Ромашка обычно помалкивал. Рассказывать ему было нечего.

Утром с килограммом муки в руках уставшие за ночь ребята расходились по домам. Свой килограмм приносил в дом и Ромашка.

Зимой был еще один источник пропитания. Большой Люблинский пруд не замерзал у водопада. Там, где темная холодная зимой вода переливалась через дамбу, можно было ловить рыбу. Ребята становились на края полыньи и сачками из марли вычерпывали выплывавших из-под льда плотвичек величиной с палец. За два-три часа можно было наловить целую банку без воды. Дома серебристых рыбешек Фима пропускала через мясорубку и получались вкуснейшие на свете рыбные котлетки. Это был личный вклад Ромашки в скудный рацион питания. Он этим очень гордился. Придя с рыбалки, он медленно, устало, как рабочий человек, снимал валенки, пальтишко, шапку, садился на табурет и клал на стол холодные, красные от воды и холода руки.

— Устал, — говорила Фима, чувствуя, что сын ждет сочувствия мамы.

— Немножко, — скромно и с достоинством человека, сделавшего полезное дело, говорил Ромашка.

Ромашка учился хорошо. Если случались тройки, Фима не ругала его. Она начинала говорить о том, каким умным был его отец. Как много он знал, как много читал и как писал статьи, чтобы читали другие. Что Ромашка будет таким же умным, но для этого надо хорошо учиться. Других аргументов у нее не было.

Отец для Ромашки был легендой. Он не помнил его. Ни его лица, ни его рук, ни его голоса. У Фимы каким то чудом сохранилась только одна единственная фотография Грегора. На ней он вместе с Фимой. Оба молодые. Фима в берете, надетом на черные, коротко стриженные волосы. Грегор в пиджаке, с галстуком-бабочкой в горошек. Пышные волосы распадаются на обе стороны.

Эту фотографию Грегор хотел подарить бабушке Стеше как единственной самой старшей из обретенных после женитьбы на Фиме родственников. Но Фима фотографию не отослала. Постеснялась. Слишком нерусский был на фотографии Грегор. На обороте карточки была надпись: «Дорогой маме Степаниде от детей Ефимии и Грегора, и дата — декабрь, 1936». Четкие, без наклона, как цифры, буквы. Это была рука Грегора, отца. Ромашка часто рассматривал фотографию. Потом смотрел на себя в зеркало и, в самом деле, находил большое сходство между собой и отцом. Хотел повестить фотографию на стенку, но мама не разрешила.

Слушая рассказы мамы об отце, Ромашка понимал, что его отец был не как все. Не как все должен был быть и он, Роман Кузнецов. О том, что он не как все, давали ему понять каждый день. И взрослые, и сверстники. Называли то цыганом, то татаринном, то евреем. О том, кто на самом деле, Фима не велела говорить. Русский и все. Взрослые, погадав о национальности Ромашки, уверенно приходили к выводу — «не нашей расы парень».

Образ отца, умного и много знавшего, побуждал Ромашку хорошо учиться. Зная, что отец говорил на иностранных языках, с особым усердием учил английский. Знал его хорошо. Читал английские книги из библиотеки Голдбергов. Уроки английского в школе были ему скучны. Однажды за это поплатился. Директором в школе был Борис Львович Громов. Недобрый и грубый человек. В самом имени и фамилии его

звучала угроза. Бывший военный, он больше всего любил порядок и дисциплину. Однажды директор явился на урок английского проверить, как ведет занятия только что взятая на работу молоденькая учительница.

Борис Львович, прозванный за грубость «Барбосом», проходил между партами и увидел, что Роман Кузнецов записывает урок не в тетради, а не листке. Барбос пришел в ярость. Схватил листок, смял, и комок бумаги швырнул в лицо Ромашке.

Ромашка вспыхнул, вскочил на ноги.

— Как вы смеете! — тихо сказал он.

— Вон из класса! — так же тихо, еле сдерживаясь, прошипел Барбос. И когда Ромашка был уже в дверях, крикнул ему вдогонку:

— Без отца не приходи!

После уроков, когда ребята через вес поселок возвращались домой, картавый Сережка Андрончик сказал Ромашке:

— Мать тебе пиндюлей навешает!

Навешивать «пиндюлей» Ромашке было не кому. Фима была на дежурстве. Но если бы и была дома, самым тяжелым для Ромашки наказанием было бы молчание мамы. Она молчала, ее лицо становилось грустным и закрытым. Долго вытерпеть этого Ромашка не мог. Он подходил к Фиме, утыкался лицом в ее плечо и тихо говорил — прости. Через минуту-другую, длившуюся как целая вечность, рука Фимы опускалась на его голову, она начинала гладить его черные, распадавшиеся на две стороны волосы,— и это означала прощение. Без слов, без упреков.

Мария Семеновна продолжала пропадать из дома целыми днями, оставляя Ромашке ключ от своей комнаты, чтобы он мог поиграть на пианино. И вот однажды она сказала Фиме, что уезжает из Москвы навсегда.

Подъехал грузовик. Погрузили вещи, мебель, связки книг, картины.

— Пианино я оставляю Ромашке,— сказала она Фиме.— Ему оно нужнее, чем мне. Без музыки он пропадет.

Большой длинный «комод», как раньше Ромашка называл пианино, переехал в комнату Фимы на место, где стояла кровать Лизы.

И добрая соседка Мирра, а для Ромашки Мария Семеновна — темноволосая тетка с ласковым голосом, подарившая ему музыку, навсегда исчезла из жизни Фимы и ее сына.

Осталось черное блестящее пианино фирмы *Bekker* и музыка, без которой Ромашка, в самом деле, пропал бы. Послевоенная улица с амнистированными уголовниками, блатными песнями, непременными драками, выпивками по подъездам поглотила бы его, разрушила и выбросила из своей тлетворной пасти, как это случилось со многими его сверстниками. С ним это не случилось. Но не случилось по другой причине.

Окончание следует.



Алексей Яшин
(г. Тула)



СОВЕРШЕНСТВО И АБСУРД*

◆ Артиллерийский полковник в запасе Хмуров, ныне доцент кафедры ракетостроения Тулуповского государственного университета, в последнее время стал ощущать определенную неадекватность окружающей его обстановки: на работе, дома, на улице. Даже на дружеских вечерних с устатку — посиделках в забегаловке «Ханты-манси» с коллегами по кафедре, доцентами Николаем Андреевичем и Яцышеным, с доцентом же Язвишиным с медико-физкультурного факультета. Стал он замечать то, что ранее воспринимал как некую индивидуальную особенность то ли своего зрения, а может и образности мышления что ли?

Все дело в том, что как будто начал он воспринимать окружающий мир несколько *отстраненно*. Или *отстраненно*? Самое интересное, его аспирант Эдька как-то в доверительном разговоре с шефом — поздним вечером, когда засиделись они вдвое в преподавательской кафедре, выправляя третью главу диссертации — признался примерно в том же самом:

— Понимаете, Григорий Иванович, этот чертов компьютер и суточные «сидения» в Интернете, при всей их полезности, конечно, странное дело с человеком делают: начинаешь себя ощущать вроде как одиночкой, ото всего изолированной единицей. Среди людей, событий и предметов живешь, но все это, даже в каком-то смысле отец с матерью и сестра, бабуля тож, кажутся, прости господи, некими посторонними. Порой до дикости в мыслях доходит: думаю, вот дотронусь пальцем до кого-нибудь или чего-нибудь, а палец пройдет через них. Как в пустоте с голографическими объемными фигурами. Но в то же время какая-то боязнь или неведомая сила запрещают такие эксперименты проводить.

Сейчас у меня подруга интимная, извините, Григорий Иванович, медичка со старшего курса, с нашего медико-физкультурного. Как-то поделился с ней, вроде как шутя, этими мыслями, но та перед этим шампанского с ликером нахлебалась, да и я ее, вторично извиняюсь, чувственно завел... Засмеялась только: а ты, мол, Эдик, как мысли такие придут в голову, так попей сибазончику или грандаксину. Еще действеннее — ивадалу, флуоксетину или доброго старого алпрозоламу. У меня по фармакологии пятерка, то есть сто баллов, были!

Еще раз посмеялась, потом: дескать, не задумывайся, как такая хандра найдет, там мигом ко мне. Коньячок отцовский, шампунек — и в койку. Она-то сразу излечит. Родичи мои, как ресторанным бизнесом увлеклись, так без выходных и праздников в девять утра сматываются, а приезжают в два-три ночи! Так что твоя спасительница, исключая часы занятий, всегда к твоим услугам!

Хмуров ухмыльнулся непосредственности аспиранта, а поскольку виртуализация

* Глава из нового романа «Сны и явь полковника Хмурова (Пятая книга рассказов Николая Андреевича)», готовящаяся к печати в издательстве «Московский Парнас».

социума и индивидуального человека, полностью погрузившегося, как современная молодежь, в интернетовский, компьютерный мир, как раз и являлась одной из основных тем его исследований и содержания уже написанных томов «книги века», как уже весь университет за глаза ухмылялся, то он кратко, но понятийно объяснил суть происходящего с собеседником. Однако под конец краткой лекции поймал себя на тревожной мысли: но ведь он-то, в отличие от Эдьки и всех современных тинейджеров, да далеко и не только их одних, к компу почти что не подходит, благо печатать и рисовать иллюстрации в машинной графике для его монографий есть кому на кафедре. За умеренную плату. А Интернет он давно объявил изобретением дьявола; принципиально не знает смысла слов из птичьего языка пользователей этой техники навроде блог, сайт, провайдеры там всякие с франчайрайзерами...

Неуютно стало полковнику Хмурову. Скомкав объяснение, распрощался с аспирантом до завтрашнего дня. Повеселевший Эдька взял курс на дом Натки-медички, а Григорий Иванович уныло пошагал вниз по проспекту. Тоже держа ориентир на свой дом. А может и не свой? Вроде как до старости еще дело не дошло. А до чего дошло?

◆ В самом конце третьего века семнадцатого тысячелетия первого цикла летоисчисления* Главный управляющий центр Земли выдал директиву высшей категории важности: для корректировки генплана развития до конца первого цикла в числе многих других мероприятий провести очередной биологический эксперимент. Сущность его состояла в следующем. Да, заметим, что аналогичные проводились, в качестве контрольных, во всех предыдущих нечетных тысячелетиях цикла...

Итак, на этот раз контроль должен быть проведен по соотносению с восемьдесят восьмым годом до начала первого цикла, то есть с 2010-м годом по доисторическому, христианскому календарю.

Соотнесение заключалось в воспроизводстве по артефактам ДНК, или их фрагментов, типичного *homo sapiens* в текущем году соотношения, то есть в этот раз в 2010-м от Р.Х., находившегося в возрасте физической и умственной зрелости, главное — самодостаточно мыслящего. Этот воссозданный древний человек, начиная от активации ДНК и до достижения возраста, соответствующего 2010-му году, естественно формировался в условиях правдоподобного анабиоза.

То есть, во-первых, никаких архаичных, давно изжитых репродуктивных технологий с привлечением бывших женщин — типа ИОМ, ИОД, ЭКО с ПЭ** и так далее. Плод реконструируется из ДНК в специальной биофизикохимической камере, управляемой компьютером LVIII-го поколения. Для самой полной идентификации «родившегося» младенца далекому его близнецу, включая не только пол, группу крови с ее полной формулой и так далее, вплоть до «унаследованных» черт характера и внешности давних же отца, матери и всех предков до седьмого поколения, в управляющую камеру программы компьютера включены все эти характеристики. Последние же считаны с ДНК-артефакта.

Понятно, что такое стало возможным, когда в самом начале второго века первого тысячелетия первого цикла были кардинально пересмотрены примитивные и неадекватные представления о структуре наследственной памяти ДНК, вошедшие в научный обиход еще в доцикловые времена — так называемая международная программа

* В будущем человечество выбрало отсчет времени по циклам, причем длительность цикла вычисляется из соотношения времен полураспада образцовых изотопов индия и тория: $\Delta_{II} = (In^{115})_{1/2} : (Th^{232})_{1/2} - (Th^{229})_{1/2} = (6 \cdot 10^{14}) : (1,45 \cdot 10^{10}) - 7540 = 33860$ (лет). Начало первого цикла было отнесено (по привычному нам летоисчислению) к 0.0 31 декабря 2098 г. от Р.Х. То есть описываемые события начались в 19390-х гг. от Р.Х.— Прим. авт.

** Используемые ныне репродуктивные технологии; соответственно, искусственное оплодотворение спермой мужа; то же, но спермой донора; экстракорпоральное оплодотворение с переносом эмбриона («ребенок из пробирки»).— Прим. авт.

«Геном человека». Как стало вскоре, где-то в XXII веке старого летоисчисления, понятно, что «рассортировать» три миллиарда нуклеотидных оснований ДНК человека по условным генам — это примитивная «арифметика». А вот «высшая алгебра», что и было выполнено — это установление свыше трех триллионов электромагнитных связей: между группами-генами и отдельными нуклеотидными основаниями.

...Но это все цветочки, ягодки впереди, а именно: воссоздание максимально адекватных прототипу-близнецу внешних условий взросления копии от самого условного «рождения» до серьезного взрослого возраста в 2010-м году по старому летоисчислению. Это уже информация не генетическая, но — фенотипическая. Конечно, в тонких связях генов ДНК процентов двадцать-двадцать пять фенотипики отобразилась. До половины всей информации дали архивные материалы той поры в локализации выбранного объекта. Остальное — сложнейшая интерполяция архивных данных и фенотипики методом последовательных шагов-итераций.

То есть в течение всех пятидесяти с лишним лет взросления клона, находящегося в специальной камере с круговыми объемными голографическими экранами и тренажерами для физического развития, каждые полчаса система энцефалодатчиков фиксировала все оттенки работы оперативной памяти и подсознания и подправляла, экстраполировала фантом окружающей «обстановки» в управляющей программе.

...Все это долго объяснять чисто понятийным языком, то есть без формул математики и логики, системного программирования и пр., и пр. Словом, к назначенной дате клон готов для эксперимента. Сущность же последнего: для корректировки ген-плана развития всей инфраструктуры Земли в вычисленные Главным управляющим центром сроки клонируются группы (но сугубо автономно) людей-архетипов из разных эпох — от XVI века христианской эры до предыдущего тысячелетия первого цикла нового летоисчисления. Далее каждый из них, выросший в смоделированных, адекватных ему условиях-фантамах, «выпускается» в реальный теперешний мир. Ему объясняют: кто он есть, знакомят с всем и всея нынешнего облика Земли, а закрепленные на его голове и теле чины-датчики дают на регистрирующий компьютер сигналы, отображающие всю психосматику и мыслительную деятельность клона.

Казалось бы: кому в семнадцатом тысячелетии первого цикла нового летоисчисления важны мнения и реакции первобытного человека доисторического, христианского периода дикой цивилизации Земли? Но — нужны и очень даже важны. А почему нужно и очень даже важны? — Это знание есть прерогатива исключительно верховного разума Земли, воплощенного в структуре Главного управляющего центра. Анализирующего и синтезирующего тож.

◆ Задача поиска исходных ДНК-артефактов из той далекой эпохи и сложна, и проста. Проста чисто технически, особенно для времен, начиная с первой трети XXI века христианского летоисчисления, когда в наиболее развитых тогда странах начали создавать банки генетических материалов. Эти банки, вернее те из них, которые уцелели в Четвертой ядерно-психотронной войне, развязанной теми дикарями, далее были включены в более совершенные банки и сохранились до сих пор. А от XVI—XX веков христианской эры ДНК-артефакты также были собраны из захоронений во второй трети того же XXI доисторического века. В основном они тоже сохранились.

Сложность же заключалась именно в отыскании ДНК-артефактов только самодостаточно мыслящих людей, образованных и склонных к логически непротиворечивому анализу и синтезу. Бывшие дворники, торгаши, военные, чиновники здесь не годились.

В Институте реконструктивного биосинтеза, издавна ответственного за эксперименты подобного рода, в штате которого состояли пять биологически идентифицированных управленцев, две сотни виртуально идентифицированных биороботов, главный мегакомпьютер и автоматизированный поисковый комплекс, поиски ДНК-

артефактов группы людей, живших с середины XVI века по середину века двадцать первого, были распределены — по количеству группы — между двадцатью виртуально идентифицированными биороботами (*ВИБ*). Все они подчинялись управленцу третьего ранга.

ВИБ № 78, как он значился в списке личного состава Института, то есть суперкомпьютер со сложной телекоммуникационной и механотронной инфраструктурой, занимавшей рабочий кабинет под тем же номером, получил по разрядке Управ-три задание на поиск артефактов древнего человека, обладавшего к 2010-му году набором требуемых качеств.

Стандартные, отработанные программы поиска результатов не дали. Немногие генетические банки начала XXI христианского века оказались уничтоженными в Четвертой мировой войне. Поэтому предстояла очень кропотливая работа по захоронениям, не всегда дающая адекватный результат. Но что поделаешь? *ВИБ № 78* приступил к первому этапу: архивному поиску подходящих кандидатур 2010-го года в возрасте 50—60 лет.

Семьдесят восьмой биоробот был новейшей конструкции, по интеллекту почти приближенному к биологическому человеку, поэтому на досуге — регламентной проверке, мелком ремонте, изменении конфигурации архитектуры и так далее — Семьдесят восьмой регулярно вводил в свою базовую память всякие информационные кунштюки, в основном, тексты древних книг и рукописей из фондов различных инфохранилищ. Особенно его интересовали труды по прогнозированию будущего Земли и Вселенной — почти безумные или полубезумные теории, выдвинутые в конце XX — начале XXI веков христианской эры. Может, зная этот пунктик Семьдесят восьмого, Управ-три и поручил ему начало двадцатого века.

Поэтому «продвинутый» *ВИБ № 78* не стал поначалу тупо-механически перебирать архивные досье за 2010-й год, а перевел из базовой памяти в оперативную эти самые кунштюки того времени и сразу выявил козырную карту — пятитомное сочинение некоего Григория Ивановича Хмурова, русского по тогдашнему разделению по национальностям, военного в запасе, преподававшего в университете города Тулуповска — опять же по принятому в древние времена делению на государства — в стране России.

Труд этот был посвящен прогнозу — с позиций науки и суеверий того времени — перехода биосферы Земли в ноосферу, а реального мира людей биологических в виртуальный электронный мир. Как ни странно, но этот экс-полковник предугадал многое из сбывшегося уже в самом начале первого цикла нового летоисчисления.

Вот бы заполучить *ДНК*-артефакты лихого полковника? Увы, Тулуповск и его окрестности с захоронениями был снесен в том же начале первого цикла, как неперспективное поселение, а на освобожденной территории, богатой подземными водами, вырыли гигантский котлован площадью восемьдесят квадратных километров, заполнили его в течение трех лет водой из системы артезианских скважин. Получившееся хранилище восполнило нехватку пресной воды в центральной части Восточной Европы.

...И опять Семьдесят восьмому повезло: базовая память отыскала в сонмище файлов всякого мусора информацию: в одном из книжных древнехранилищ имеются книги из библиотеки бывшего Тулуповского университета. Ориентированный запрос выдал ошеломляющий результат: в описи уцелевшей части фонда этой библиотеки сохранился третий том сочинений Хмурова с его личным экслибрисом. То есть это был авторский экземпляр; по всей видимости, завещанный полковником, наряду с другими книгами, родному университету. А может автор и сам по ошибке вместо «чистого» экземпляра передал в дар личный.

Опыт подсказал Семьдесят восьмому, что в книгах часто можно найти такие пре-

восходные ДНК-артефакты как волосы. Особенно в мудреных книгах, которые читают, задумчиво почесывая уже заметную лысину...

Затребованную книгу, бережно сохраняемую почти двадцать тысяч лет в вакуумной упаковке-консерванте, авторобот скоренько доставил в Институт, а механический и оптический интерфейсы Семьдесят восьмого тщательно просмотрели книгу. Волос не нашлось, ибо полковник Хмуров стрижся коротко и голову при чтении не чесал. Но зато был обнаружен намного более ценный артефакт — следы слюны!

Действительно, просматривая сигнальный экземпляр третьего тома, Хмуров обнаружил грубую опечатку по вине издательства, побагровел (был несколько нетрезв — обмывал изданный труд) и, не сдержавшись, в гневе плюнул на опечатку. А поскольку кому-либо презентовать заплеванный экземпляр неприлично, то Хмуров оставил его себе как личный, проштемпелевав на форзаце свой экслибрис.

...Далее все просто. Досрочно выполнивший свою работу Семьдесят восьмой передал артефакт в отдел клонирования, дело завертелось. А через пятьдесят пять лет клон полковника Хмурова соответствовал его оригиналу 2010-го года древнего христианского летоисчисления.

◆ С каждым днем Григорий Иванович все более и более ощущал это непонятное чувство отстраненности: все вокруг вроде бы давно знакомое, свое... а в то же время и чужое. Особенно это поражало его, скажем так, в интимных делах с супругой. Жена его в начале шестого десятка не теряла, в отличие от многих глупых баб (стара, мол, дети, внуки...) темперамента и склонности к ночным ласкам. На людях выглядела на сорок с небольшим, а в постели, сохранив девичью атласность кожи и тугие груди, и вовсе на матерую тридцатипятилетнюю бальзаковку тянула.

Григорий же Иванович, по происхождению из казаков-староверов, и вовсе полагал свой возраст третьей молодостью. Четвертую же в их роду относили к седьмому десятку. Но Хмуров не был бы сверхдисциплинирован на военной службе, к тому же обладающим логическим, научным мышлением, если бы естественная, биологически обусловленная страсть к своей тугогрудой, так и не надоевшей более чем за четверть века, супруге, если бы его ночное постельное трудолюбие не дополнялось холодным расчетом медицинского характера. Ибо еще в его юности, в военном училище, старый, мудрый преподаватель по артиллерийской оптике Добромыслов, уже давно в отставке, встретивший Октябрьскую революцию в Омском юнкерском корпусе, наскучавшись объяснением курсантам принципов работы бинокулярных дальномеров, рассказывал пару забористых армейских анекдотов, а затем минут десять поучал их жизненным премудростям.

«...Готовьтесь, господа-товарищи курсанты, тянуть лет двадцать ляжку армейского офицера. Причем не в штабах округов в крупных городах, а по преимуществу, особенно на первых порах, до капитанских и майорских погон, в глухомани, особенно в тайге или в Заполярье. Даже на Земле Франца-Иосифа, рядом с Северным полюсом, в дивизии первого удара по натовцам. В таких местах только два удовольствия-развлечения: вечером с сослуживцами выпить — в меру, конечно — водчонки под хороший харч, а ночью окучивать свою юную супругу. Особенно на Севере, где долгая полярная ночь. И вам, и женам одно нескончаемое удовольствие.

А как в полковники выйдете, отставниками станете, найдете непыльную работенку на гражданке, так не ленитесь, также продолжайте супруг своих баловать по ночам. Во-первых, и они за собой будут следить, в форме женской держаться; во-вторых, вам, кобелям отставным, одна польза. Не сопьетесь, а главное — при регулярной половой жизни лет до шестидесяти-семидесяти, как совершенно справедливо утверждает медицина, никакие циститы, аденомы простаты и прочие мочеиспускательные хвори вам не угрожают. А как только водчонкой увлечетесь на вольных хлебах, перестанете женам внимание уделять, так через год-другой станете за ночь по

десять раз в сортир бегать — и добегаются до операции и бутылочки с резиновой трубкой, принайтованной к бедру!»

Очень опасался Григорий Иванович этой самой бутылочки с резиновой трубкой, которой и самого отставного полковника Добромыслова пугали отцы-командиры еще в Омском юнкерском корпусе, а потому даже супруга порой, вроде в шутку от полученного удовольствия, а может и по-бабски с подозрением, утром говорила ему: «И откуда, Гриня, у тебя это все берется? Не иначе, как на кафедре вашей появилась новая лаборантка, что из нынешних молоденьких стерв, и ты второпях трахаешь ее в какой-нибудь каптерке, а? Возбудишься, а ночью на мне адреналин гасишь».

Оправдываться перед глупой, хотя и житейски умной, бабой Полковник считал ниже своего достоинства: «Ага, сразу трех завел. Подавай, боевая подруга, завтрак. И про селедку к ужину не забудь!»

...Вот в этом-то интимном деле Григорий Иванович в последнее время также отметил странность. Вроде все хорошо, ноу проблем, как говорят америкосы, все в обычной норме и качестве, так сказать, но вот порой такое ощущение, что будто не он по ночам супругу обнимает, а какой-то его двойник, а он вроде со стороны наблюдает интимную сцену.

Да-а, во всем внешнем можно тешить себя самообманом, причины находить, но биологическую-то природу не обманешь?

◆ Отстраненность его в самых интимных делах окончательно взбудоражила Полковника. Может это от долгой совместной жизни? Ведь не секрет, что многие супруги со временем начинают стесняться друг друга в постельных делах... Хмуров не был бы ученым-естествоиспытателем, если бы не проверял все на практике. То есть он должен был — для сравнения — вступить в контакт с другой женщиной.

Надо сказать, Григорий Иванович, имея молодящуюся жену и твердые морально-нравственные убеждения, если иногда и имел интимные отношения налево, то только по сугубо деловым соображениям: все для дома, все для семьи. В основном, когда состоял на воинской службе — легкие, ни к чему не обязывающие интрижки, иногда ускоряли на полгода-год получение очередной звезды на погоны. Случались и формажорные интимы; жизнь есть штука сложная и извилистая, а не прямолинейный проспект, ведущий однозначно к цели.

Кстати вспомнил давнее, пожалуй, единственно не деловое, но чувственное, увлечение молоденькой лаборанткой Ниночкой — это еще в бытность его преподавателем военной кафедры университета; впрочем, тогда еще технического Тулуповского института. Но наваждение прошло, как только добрые люди донесли супруге тогда еще майора Хмурова, а она грохнула благоверного сковородкой по башке. Чугунная сковорода с ручкой треснула к ее огорчению, а Григорий Иванович даже легкого сотрясения мозга не получил, отделался солидным шишаком. Когда страстно помирились, Хмуров все шутил: «Советский майор крепок головой, поэтому и армия наша непобедима!»

Тулуповск хотя и имеет три четверти миллиона населения, с пригородами, конечно, но жители именуют его большой деревней, где все друг друга знают. Речь идет, понято, об интеллигенции и вообще приличных людях. Остальные девяносто процентов в советское время за станками стояли, а в новейшее — за прилавками. То есть в расчет не принимаются. Именно поэтому время от времени до Григория Ивановича доходили — безо всякого его любопытства — вести о жизненном пути Ниночки.

Последняя по времени весть гласила, что она разбежалась со своим мужем, торговым бизнесменером средней руки, оттяпав в качестве отступного нехилую квартиру в ближнем центре города и двухэтажный коттеджик в полуэлитном дачном поселке.

По приказу Полковника верный аспирант-оруженосец Эдька, имевший в числе своих подруг девицу-офисницу из билайновского сервис-центра, мигом узнал номер

сотового Ниночки... Словом, через самое короткое время, продемонстрировав супруге липовую командировку в Москву по издательским делам, Григорий Иванович чокался шампанскими фужерами под икру и фирменную лазанью в ресторации «Папа Бендер» с Ниночкой, то есть уже восхитительной сорокалетней бальзаковкой Ниной Трофимовной. Умильно оба вспоминали давнее, радовались восстановлению дружбы. Вволю натанцевавшись, поехали в загородный коттедж прелестницы, где и провели в возобновленной любви и страсти двое суток.

...Увы, худшее подтвердилось. И с Ниночкой, то есть с Ниной Трофимовной, все то же самое: отстраненность и ощущение двойника на уютном и широком «сексодроме».

Вернувшись из «командировки» домой, к любящей супруге, соскучившейся и несколько огорченной вялостью мужа («По Москве набегался, устал до чертиков»), Григорий Иванович начал подумывать о визите к невропатологу. Но к какому-то такому? Госпиталь гарнизонный, к которому он издавна был прикреплен, только-только ликвидировали одновременно со старейшим в стране ракетно-артиллерийским училищем, военным институтом по-нынешнему. Как говорится, в целях модернизации и усиления обороной мощи государства. Так и не успели курсанты пощеголять в юдашкинских шинельках на синтепоне!

Идти к Вере Викторовне в университетскую поликлинику? — Но она женщина увлекающаяся, все сведет к достоинствам традиционной китайской медицины, начнет восторженно рассказывать о меридианах и коллатералях, точках акупунктуры, системах ян и инь... К кому идти? — Не в Петлевановку же или в Жиромясово? Так мигом в университете узнают и турнут с режимного военно-технического факультета! Останется на «шести сотках» капусту выращивать... как этот римский император в отставке; как его? — Тертуллиан, кажется. А может и другой. От душевных переживаний даже абсолютная память начала подводить...

Неизвестно, до чего бы додумался наш напуганный Полковник, если бы все не разрешилось еще более страшным образом.

◆ Если доселе Хмуров после лекций, практических занятий и консультаций с аспирантами, ощущая прилив аппетита, спускался по пологому проспекту, держа курс на свой дом, бодро маршируя, выгнув не потерявшие статность плечи и грудь, то сегодня, как и в предыдущие месяцы, шагал не в такт вялой отмашке правой руки (левой прижимая к корпусу рабочую папку), несколько согнувшись, с постоянно невеселыми мыслями...

...И тут *это* произошло. Весь мир вокруг исчез. «Неужели до обморока доигрался», — только и успел подумать Хмуров, но тут же мир снова осветился, но это был другой мир. Достаточно большая, беззаконная, замкнутая в кубе комната. Зоркими глазами артиллериста отметил: стены, потолок и пол представляли собой сплошные только-только погасшие экраны со слабым, исчезающим послесвечением... И вроде как он еще шагал по проспекту. Опустил глаза и увидел: он действительно продолжает идти по катящемуся навстречу участку пола-эскалатора. Как в спортивном тренажере. «Все, допрыгался, лихой полковник, досочинялся безумных трактатов об устройстве Вселенной, — в дурку-таки попал!»

Но странно — никакого волнения он не испытывал, мысли в голове не путались, но подчинялись строго-холодной логике. «Знать уже успели накачать психотропами, бензоатами всякими», — так же холодно и отстранено подумал Полковник, — однако смиренной рубашки на мне нет, обычный рабочий костюм. Значит, не буйствовал».

По беззвучной команде (вот она, предрекаемая им в своих книгах-фантазиях о будущем, психотроника!) Григорий Иванович сделал шаг влево и сошел с эскалатора-тренажера, на место которого снизу выдвинулось сложное по конструкции, со

* Психиатрические лечебницы Тулуповска: областная и городская, соответственно.— Прим. авт.

множеством каких-то датчиков, кресло. «Может, электрический стул, а может и гинекологическое сиделище», — также холодно усмехнулся Хмуров, но, подчиняясь все той же беззвучной команде, уселся в кресло.

Тотчас экран-стена, перед которым его усадили, засветилась, показывая что-то вроде рабочего кабинета функционального типа: со множеством встроенных в стены экранов, пультов и вовсе незнакомых Хмурову технических устройств. На переднем плане, тоже в функциональном кресле, сидел некто, отдаленно похожий на человека: грушевидная — с расширением вверх — голова с глазами явно монголо-китайского разреза, крохотный носик-кнопка, тонкие бесцветные губы, прижатые маленькие уши, цвет кожи — что-то среднее между коричневым и оттенком слоновой кости. Относительно наличия или отсутствия волос на голове Хмуров не мог составить представления, ибо голова венчалась чем-то навряд академической шапочки-ермолки с какой-то овальной вытканной эмблемой.

Все что ниже подвздошья скрыто столом, а выше и под горло — явно функционального тоже назначения, — глухо задрапированно одеждой оливкового цвета. Григорий Иванович мысленно отметил: похожие куртки, но только с болтающимися сзади капюшонами, надевают игроки в «угадайку» на почти каждодневной передаче по *ЦТВ*. Передачу эту очень любила смотреть на кухне по маленькому телевизору на холодильнике его супруга, готовя обеды-ужины, а сам Хмуров этих «угадайщиков» люто ненавидел.

— Я буду обращаться к вам так, как было принято в вашей среде, — безэмоциональным, механическим голосом начал грушеголовый (Хмуров догадался: судя по отсутствию шевеления губами, визави звуковой речью, скорее всего, не обладал, а через дистанционные энцефалодатчики передавал свою мысленную речь на компьютерный переводчик и озвучиватель).

Итак, Григорий Иванович, должен вам сообщить: прошло свыше девятнадцати тысяч лет, как вы, всемирно известный ученый-футуролог, доктор технических наук по ракетостроению, почетный профессор Тулуповского университета, автор знаменитой многотомной монографии об устройстве и генезисе Вселенной и прогнозе эволюции разума на Земле, в девяностолетнем возрасте покинули свой, не лучший из миров, проживая к тому же в стране, именованной Россией, впавшей в величайшее за ее историю социальное и политическое небытие.

В нынешней же своей ипостаси вы — аутентичный своему прошлому естеству биологический клон, по физическому и мыслительному состоянию, психологическому портрету, соответствующий тому полковнику Хмурову, который проживал в 2010-м году древней, христианской эпохи летоисчисления...

«Так вот почему в последнее время имитации моей земной жизни я и ощущал ту странную отчужденность, некую индивидуализированную отстраненность», — почти что с облегчением подумал клон Григория Ивановича. Самое странное, что не сам факт клонирования столько его поразил, сколько он успокоился, осознав причину этой отчужденности.

— ...Да-да, Григорий Иванович, вы правильно все поняли, — прочитал его мысли грушеголовый на стене-экране, — что ж, и наша наука не является пока верхом совершенства. И мы не можем в каких-то моментах абсолютно идентично смоделировать выращивание клона. Отсюда и ваше чувство отстраненности и отчужденности, как вы это мысленно определили терминологически.

Вы, конечно, зададитесь вопросам: почему вас клонировали через девятнадцать тысяч лет и именно вас? И правильно, что зададитесь этим вопросом. Вы ведь не подопытное животное, но в своем роде уникально мыслящий *homo sapiens*. Даже в чем-то почти приближенный в части интеллекта к нам, *homo noospheres*, то есть людям ноосферным. Заметьте, я вовсе не льщу вам, но констатирую факт. Но об этом

вам подробно расскажет *ВИБ № 78*, то есть биоробот-компьютер, который нашел ваши *ДНК*-артефакты, а теперь будет курировать ваше пребывание в нашем, к сожалению, также не лучшем из бесконечности параллельных миров мультиверсума, о которых вы столь романтично и провидчески писали в четвертом томе своей фундаментальной монографии.

— А с вами, уважаемый — не знаю как вас именовать, вы не представились — мы не сможем побеседовать? Я ведь человек, с ваших позиций, архаичный, как-то не привык с бездушными машинами разговаривать.

— Григорий Иванович! Я потому не представился, что мы общаемся с вами в первый и последний раз. Дело в том, что биологических людей на Земле осталось всего несколько сотен ввиду ненужности, как в ваше время, миллиардных масс. Да и у вас в России, США и многих других странах к началу XXI века христианского летоисчисления уже до восьмидесяти процентов населения являлось излишним, существовало за счет той или иной формы паразитирования на людях, работающих актуально. Формы же паразитирования: мелочная и мелкооптовая торговля, чиновничество, политический аппарат, просто откровенные бездельники. Впрочем, это вы сами хорошо знаете.

Я же, как и остальные несколько сотен биологических людей, принадлежу к управленцам, точнее мое имя-звание *Управ-три* по ранжиру реконструктивного биосинтеза.

А увидеться? — Это совершенно излишне. Во-первых, ничего нового, кроме сказанного Семьдесят восьмым, вы от меня не узнаете. Во-вторых и в основных, время биологических людей у нас расписано по часовым промилям, или, как у вас говорят, по секундам. На беседу с вами мне отведено, по вашему же времяисчислению, четыре с половиной минуты, которые через пять секунд заканчиваются. Передаю Вас в распоряжение Семьдесят восьмого. Возможно, вы адаптируетесь к новой для вас форме жизни и повторите свой прежний, девяностолетний возраст. Прощайте.

Экран выключился. «Окончен был, погасли свечи», — несколько обескуражено подумал в рассеянии Хмуров. То есть клон нашего лихого полковника.

◆ Уже без экранного показа Хмурова приветствовал с клонированием робот Семьдесят восьмой, предупредив, что гость из прошлого может разговаривать звуками, как в его прежней жизни было принято, а может и не шевелить губами — все одно он, Семьдесят восьмой, воспринимает информацию от уважаемого полковника через энцефалодатчики, дистанционные понятно, а сам он будет «говорить с гостем новой Земли», естественно, воздействуя непосредственно на мозг Хмурова со всеми его синапсами электромагнитным излучением, модулированным по сложной схеме переведенной на русский язык речью.

— Чтобы вы, уважаемый Григорий Иванович, не сомневались, — вещал откуда-то из застенного пространства робот, — я вам напомню ваши мысленные слова, после того как погас экран с Управом-три: «Му...к грушеголовый!»

— Ха-ха, верно, номер такой-то! А как, кстати говоря, на вашем птичьем языке эти слова звучат?

— Как вы уже, наверное, поняли, у нас нет звуковой речи, а записываются они в памяти как **0110100111 _ 111010011**.

— Да-а, невидимый вы наш номерной, совсем вы тут одичали. Оно и понятно, если на планете всего лишь с полтысячи живых людей осталось, да и те — эти самые **0110**... Тьфу! Давай, знакомь со здешней жизнью.

Все дальнейшее в этот первый день на Земле будущего он воспринимал со сложной смесью юмора и душевной тоски.

Следуя командам Семьдесят восьмого, Григорий Иванович вышел в проем бесшумно отодвинувшейся на метр стены в бесконечно длинный коридор. Остановился.

К нему со спины также бесшумно подъехал механизм, чем-то напоминающий *папамобиль*^{*}, только не на колесах, а по-видимому на магнито-левитационной подвеске.

Григорий Иванович шагнул через отошедшую, как в автолайне, дверцу внутри папамобилля, уселся в кресло. Дверца закрылась, механизм бесшумно заскользил по полу коридора. А «голос» нумерованного робота пояснил:

— Сейчас мы проедем коридор двадцать четвертого этажа Института реконструктивного биосинтеза, а в торце его через отрывшийся проем в стене, но уже не на магнитной подушке, а на реактивной тяге начнем ваше ознакомительное путешествие. Естественно, все ваши мысли и слова, надеюсь, не все бранные, я фиксирую для последующего отчета — цели вашего клонирования — в высшие управленческие инстанции Земли.

Папамобиль, переключившийся на режим *папалета*, сиганул из институтского коридора в отошедшую торцевую стенку и взял курс на приземистое здание с куполом, чем-то напоминающее строение Конгресса *США*. Между зданиями института и лжеконгресса Григорий Иванович видел под ногами только приземистые ангары, перемежаемые квадратами лесопосадок, в которых он с умилением обнаружил родные березы и липы. А нумерованный робот, как заправский гид, разъяснял:

— Вам повезло заново, так сказать, родиться в административном центре Земли, месте постоянной дислокации Главного управления планеты. По нашему — Главный управляющий центр Земли, а по вашему — Тайное мировое правительство. Конечно, сейчас оно никакое не тайное, но абсолютно явное.

— И где мы... то есть этот центральный город располагается? Березы вот смотрю... Липы опять же.

— Если иметь в виду привязку к географии вашего древнего времени, то это юго-запад Костромской области государства России...

— А чего же не в Вашингтоне, Нью-Йорке, в масонском Рейкьявике или на Мальте. Почтили ли бы память конспирологического Тайного мирового правительства, а?

— Все шутите, Григорий Иванович. Нью-Йорк давно под воду ушел в великое потепление пятнадцать тысяч лет назад. Вашингтон стерт с лица земли водородной бомбой в Четвертую мировую войну еще на исходе вашего, христианского летоисчисления. Исландия с ее бывшим Рейкьявиком, как мифическая Атлантида Платона, ушла под воду в результате грандиозного землетрясения. А на Мальте расположен госпитомник для рождения, отбора, воспитания (и утилизации не прошедших отбор) биологических людей — будущих мировых управленцев. Вот через пару лет наш Управ-три на пенсию выйдет, нового с Мальты пришлют. То есть территория сугубо режимная и с предельно ограниченным доступом. Так сказать, кузница бывшего Тайного мирового правительства, говоря вашим языком.

Среднеевропейская же территория бывшей России выбрана под «стольный град», как самая тектонически спокойная на планете, а бывшая Костромская область к тому же по астрономическим просчетам наиболее безопасная с точки зрения метеоритно-астероидной активности.

Ну, вот и подлетели к Центру мирового правительства. Ближе нельзя, собьют, то есть пройдем стороной. Смотрите — нам дано только пять секунд зависания.

Действительно, здание Центра очень напоминало Капитолий («Не зря в наше время никто не сомневался: откуда у Тайного мирового правительства ноги растут», — подумал Хмуров). Здесь его внимание привлек огромный бронзовый барельеф на фронте здания — с человеческим изображением. Приглядевшись, Григорий Иванович почти с мистическим ужасом («А клоны с ума сходят?») узнал лицо на ба-

^{*} Машина с колпаком из пуленепробиваемого стекла, внутри которого сидит на троне папа Римский.— Прим. авт.

рельефе — Иудушка Троцкий с его характерной бородкой клинышком, как у Михаила Ивановича Калинина... Под барельефом расположилась мраморная плита-табло с россыпью чередующихся нулей и единиц.

— Да-да, вы не ошиблись,— не дожидаясь звукового вопроса, пояснил Семьдесят восьмой,— это барельеф Лейбы Давидовича Троцкого; троцкизм на этапе завершения перехода биосферы в ноосферу, что совпало с окончанием периода «жесткого» глобализма — управления миром сообществом двухсот семей — и переходом к всемирному, минимально-достаточному социально ориентированному государству, стал общемировой идеологией. Конечно, доработанной и адаптированной к обществу виртуальной реальности.

— М-м-м, мне в свое время даже и в кошмарном сне после попойки при присвоении очередного воинского звания не могло также присниться. А на мраморе что цифирью начеркано?

— А это главный девиз самого Троцкого, взятый им у классика философской мысли: «*Движение — все, цель — ничто*».

Григорий Иванович демонстративно сплюнул, а папалет стартанул и понесся над лесоохраной зоной, покидая столицу мира с десятком высотных домов, лжекапитолием с барельефом Иудушки и странными приземистыми ангарами. Совсем без дорог, тротуаров и людей.

◆ К вечеру, облетев на гиперзвуковой скорости с зависанием и экскурсионными пояснениями Семьдесят восьмого, земной шар, папалет возвратился в Институт реконструктивного биосинтеза. Снова став папамобилем, механизм отвез путешественника во времени в оборудованную для него по нравам и вкусам 2010-го года христианского исчисления квартиру на третьем этаже главного корпуса. Спальня, гостиная и кабинет для ученых занятий. Санузел и даже кухня, если постояльцу войдет в голову самому готовить. В чем он и убедился, открыв большой холодильник с тремя камерами: мясо, рыба, в том числе его любимая малосольная селедка, фрукты и прочий джентльменский набор среднестатистической интеллигентной семьи 2010-го года.

Даже телевизор в гостиной смахивал на южнокорейский тех же лет.— Никакой не встроенный или виртуальный, как принято здесь.

Но больше всего поразили книжные шкафы в кабинете — специально только что переизданные в одном экземпляре с музейных оригиналов труды классиков и тружеников науки, творивших до 2010-го года включительно. Все по его тематике. В том числе и некоторые его книги, обнаруженные Семьдесят восьмым в древнехранилищах Земли.

— Это ваше жилье на период адаптации к новым для вас условиям и впечатлениям,— пояснил Семьдесят восьмой.— А как войдете в ритм нашей жизни, то обстановку вам сменяют, осовременят так сказать.

— Да пошел ты к едрене фене,— ответил разозленный увиденным за день полетов-зависаний, главное, голодный (в пути ему давали только какие-то питательные пилюли и минеральную воду) Хмуров. Готовить самому не было желания, а сухомятка из холодильника явно не устраивала.— Слушай, ты, аналог получеловека, вели пожрать дать. И с водкой, только не паленой!

— Не грубите, Григорий Иванович. Хотя я прекрасно понимаю ваше разочарование и от этого душевное возбуждение. Вы ведь при советской власти росли, учились и мужали — и читали книжки о светлом будущем для людей. С другой стороны, вы же сами в своих книгах это ноосферное будущее уже не полагали светлым...

— Рр-разговорчики! — Хмуров совсем рассвирепел.— Пожрать, водки и баста!

— Слушаюсь и повинуюсь, мой полковник!

Явно *ВИБ № 78* совсем очеловечился в общении с гостем из прошлого и начал приобретать чувство юмора.

Через несколько минут автоматическая дверь в квартиру отошла в проем косяка, вкатилась и проследовала к гостиную тележка-кар, механические руки которой аккуратно, по правилам столового этикета расставили на кипенно-белую скатерть посуду с едой, разложили ложки, вилки, ножи и хрустальную стопку.

Григорий Иванович при виде харча поуспокоился, даже вполголоса процитировал-скорректировал одесских классиков: «В этот день бог послал полковнику Хмурову на обед, то есть ужин...» Усевшись перед столом, он долго и с подозрением рассматривал тисненый рубцами графинчик с водкой, как кот принюхивался к запаху напитка. Решив, что годится, наполнил по-маленьковски до краев сопку, крякнул и опрокинул в рот. «М-м-м, не хуже прежней, советской экспортной «экстры». Закусил селедочкой с луком, скушал бутерброд с черной икрой («Подделка, небось? Но очень качественная»).

С гиперболически вмиг усилившимся аппетитом выхлебал большую тарелку шей с капустой брокколи, подчистую смел с другой тарелки пару котлет по-киевски с картофелем-фри. Затем, слегка перепутав этикет последовательности блюд, кушал маринованную рыбку неизвестной ему породы и твердый сыр с тмином, похожий на грузинский. Каждое новое блюдо предварял стопкой псевдоэкстры. На десерт выдул литровый фарфоровый чайник; чай был прекрасен, напоминал советский индийский со слоником, расфасованный на рязанской чаеразвесочной фабрике. Пил с лимоном и марципанами вприкуску. «И как этот... вагоновожатый мои вкусы узнал?»

— Извлек из вашего подсознания, батенька,— съехидничал из пространства гостинной Семьдесят восьмой.

— Хвалю за службу,— по-полковничьи отчеканил упитавшийся Григорий Иванович.

◆ Уже по команде Хмурова тележка вновь приблизилась к столу, мехруки убрали посуду, заменили обеденную скатерть на цветастую, гостиную. Чуть подумав о коротании вечернего времени, он крикнул вдогонку уезжающей тележке:

— Еще чайник принеси, да не забудь куклу ватную на него надеть. Ну-у, лимон, сахару-рафинаду... Да-а, любезнейший самоход, захвати-ка графинчик водки объемом 0,33 литра*. И бутербродов с кумжей и осетриной наверти!

— Слушаюсь, господин полковник! — Семьдесят восьмой явно перепутал реалии давнего времени.

— Я тебе не господин, а товарищ! Господ наши деды-прадеды еще в семнадцатом году в деревянные бушлаты поодевали, а новые «господа» из подворотни (Хмуров имел в виду свое время) мне не господа, а хмыри и ворье!

«Ишь, чертов робот, лстыть или шутковать со мной задумал». По отдаленной аналогии ему вспомнился последний начальник упраздненного в 2010-м году Тулуповского ракетно-артиллерийского училища, то бишь института. Его назначили начальником в полковничьем чине, но через несколько месяцев, прямо накануне 9 Мая произвели в генералы-майоры.

Памятуя, что в России генерал не звание, а счастье, выступая по областному радио в передаче, посвященной Дню Победы, настолько воодушевился новым своим чином, что, перечисляя в установленном порядке города-герои, чуть запнулся перед Ленинградом и верноподданнически отчеканил: «...город-герой Санкт-Петербург». Григорий Иванович, слушавший это выступление в преподавательской, нецензурно выругался при женщинах и пожелал новоиспеченному генералу от паркетных полов остаться без должности. Что и случилось в 2010-м году.

...Пока автотележка заново сервировала стол для позднего ужина-доппайка, Гри-

* Здесь, очевидно, в памяти Хмурова неожиданно выскочили реалии горбачевского «полусухого» времени, когда водку разливали в емкости из-под фанты и пепси-колы, народ называл такую водку «райской» в честь супруги генсека.— Прим. авт.

горий Иванович разобрался с телевизором, оказавшимся видеоплеером со специально для гостя подобранными фильмами и программами, разысканными Семьдесят восьмым в древнехранилищах, нашел в меню «Ивана Васильевича, меняющего профессию», по аналогии со своей ситуацией, затем выкушал еще стопку и прилег на диванчик.

Фильм он знал наизусть, поэтому на экран почти не глядел, а уши фиксировали речь и музыку, не заставляя задумываться.

В таком состоянии полудремоты голова его прокручивала впечатления прошедшего дня. Единственный позитивный момент он отметил: вся планета, исключая пустыни, покрыта лесами и степями с высокими травами. А раз людей на Земле почти не осталось, то эти леса и степи заполнены всякой живностью, существующей в своей пищевой пирамиде точно так же, как и до появления человека на планете, но прямо накануне явления миру *homo sapiens*, то есть в начале Четвертичного периода Кайнозойской эры. А как следствие такой ситуации — самая натуральная еда для сохранившихся биологических людей.

Семьдесят восьмой объяснил, что еще в конце XXIV века по христианскому летоисчислению после Четвертой мировой войны, катастрофического извержения гипервулкана Тоба и падения в Индийский океан двухкилометрового астероида, когда промышленная инфраструктура, предусмотрительно размещенная под землей, уцелела, а население планеты уменьшилось до полумиллиарда, в Мировом правительстве долго дебатировался вопрос о выборе одного из двух способов поддержания парциального содержания газов в атмосфере, особенно процентов кислорода и углекислого газа. Первый из них предполагал взамен почти утраченной в катаклизмах флоры использовать техническую регенерацию углекислоты в кислород. Практически это не вызывало затруднений: сотни атомных и термоядерных электростанций обеспечили бы энергией и более грандиозные проекты.

Но выбран был второй вариант: оставить природу в покое, сконцентрировав людей в больших городах со своей инфраструктурой, а флора и фауна менее чем за столетие возобновит себя и отрегулирует нужный состав атмосферы. А почему выбрали? — В основном, решающую роль сыграло уже ранее принятое генеральное (тайное пока) решение Мирового правительства об окончательном, уже де-факто назревшем переходе от биологической формы жизни к виртуальной, информационной. Как следствие — планируемое на ближние полторы тысячи лет сокращение численности населения до сверхминимальных цифр, то есть высших и средних управленцев. А такое число биологических людей уже никак не может негативно повлиять на воссоздание примерно той же флоры и фауны (хотя три четверти их уже уничтожены человеком и катаклизмами), что наличествовала в Четвертичном периоде.

А кислород и парциальное содержание газов в атмосфере в такой ситуации нужно уже не людям, которых почти не останется, не фауне, которая отсутствующим людям, естественно, не нужна, как и флора, но для биогеохимического равновесия Земли, как залога отпущенной ей длительности существования. Причем существования, гарантирующего наличие жизни, хотя бы и виртуально-информационной. Здесь Григорий Иванович вскипел, даже грохнул кулаком по бронестеклу папалета, забыв, что сам в своих книгах предрекал подобное:

— Так вы, сволочи, рас-стакие, фюрера перещеголяли, полмиллиарда последних людей в газовых камерах отравили!

— Успокойтесь, Григорий Иванович. Никаких газовых камер, упаси ваш виртуальный бог. Мы же социально ориентированное общество еще со времен многомиллиардного населения Земли. Переход от биологической жизни и цивилизации к нынешней, виртуальной происходил в рамках так называемого жесткого гуманизма.

Да и не мы его родоначальники; начало-то было положено именно в вашу эпоху,

в конце ваших XX — начале XX веков. Вы это воочию сами все видели: разрушение института семьи в вашей России и Западной Европе, запрет на второго ребенка в Китае, стерилизация полутора миллионов мужчин в Индии, проведенная Индирой Ганди. Наконец, явное и неявное поощрение гомосексуализма и лесбиянства во всех так называемых у вас цивилизованных странах.

Ведь никто у вас, исключая кастрацию в Индии, не кричал об антигуманизме, безнравственности и ограничении прав автономной личности? Понятно, что все эти тенденции развивало у вас тогда еще тайное мировое правительство. Так чем мы хуже, особенно учитывая, что биологический этап эволюции человека себя исчерпал... Более того, у нас все это происходило намного гуманнее, чем у вас в начале процесса расчеловечения.

— Это как же, милейший виртуалиссимо?

— А вот так. Поясню в сравнении с аналогичными процедурами в ваше время. Например, разрушение института семьи — ячейки общества — в этих самых цивилизованных странах проводилось массировано чрез сексуальную революцию с лозунгом, принадлежащим вашей славной революционерки Коллонтай: совершить половой акт — это как выпить стакан воды. В постсоветской же вашей России сюда добавилось отсутствие условий для создания семей: невозможность приобретения жилья, безработица явная или скрытая, неуверенность в завтрашнем дне и так далее. Сами все прекрасно знаете.

Индира Ганди кастрировала мужиков как поросят, за что и поплатилась.

В Китае тоже не все гладко было с ограничением рождаемости.

Успешнее дела шли у гомосексов: и *СМИ* на их стороне, и так называемая демократическая общественность в Европе и Северной Америке. Даже заставили Всемирную организацию здравоохранения изъять из своих документов-деклараций определение половых извращений, как разновидности шизофрении. Но еще было сильно сопротивление и неприятие извращения основной массой народа в большинстве государств.

А у нас все произошло без сучка и без задоринки, без конфликтов и какого-либо насилия над свободной личностью.

В частности, семейную идиллию мы успешно заменили виртуальным сексом; компьютерный, хотя и примитивный, вариант этого процесса вы и у себя наблюдали.

Стерилизацию обоих полов поставили на добровольную основу. Материальное благосостояние Мирового государства позволило обеспечить добровольно кастрируемому пожизненное содержание на уровне среднего класса вашей поры, а работать только по личному желанию. Почти то же самое и для не имеющих детей пар. Никаких вычетов, как у китайцев, только поощрения! Наиболее радикальное решение было принято для извращенцев, а именно: не обошлось, конечно, без зомбирования посредством *СМИ*, так что в итоге извращенчество, то есть гомосексуализм и лесбиянство, было объявлено официально естественной половой ориентацией, а традиционный гетеросекс — животным биологическим атавизмом. В итоге вместо уцелевшего после войны и катаклизмов полумиллиарда имеем нынешние пять сотен единиц.

◆ Как понял из объяснений Семьдесят восьмого Григорий Иванович, нынешняя цивилизация, виртуальная в своей основе, озабочена тремя моментами: постоянная готовность отразить падение на Землю астероидов, космические исследования и поддержание на должном уровне энергетики. Соответственно, глубоко под землей расположены автоматизированные заводы-роботы, изготавливающие ракетные комплексы для атаки астероидов, ракеты, орбитальные и дальнолетные станции космического назначения, комплекующие для термоядерных электростанций. До недавних пор строились и атомные электростанции, но запасы урана на Земле исчерпались. Еще одна большая группа заводов изготавливала компьютерную и телекоммуникационную технику, тех же роботов.

...К полуночи, напившись водки и чая, Хмуров лежал на том же диванчике, не имея желания переходить в одинокую спальню. На экране видеоплеера шли бесконечные «Менты». Григорий Иванович даже пожалел, что информация после лета 2010-го года ему недоступна, сколько он мысленно ни просил Семьдесят восьмого. «Таковы правила эксперимента»,— смиренно отвечал тот. А хотелось ему посмотреть продолжение «Ментов», снятых после первого марта 2011-го года — уже под названием «Полицаи».

Засыпая, Хмуров вдруг впал в мистический ужас: тридцать с лишком лет прозябать здесь, на безлюдной планете! Это не жизнь. Он, вмиг протрезвевший, вскочил с диванчика, чувствуя: сейчас либо сойдет с ума, либо... жаль, пистолетов на этой планете давно нет в обиходе. Впервые в жизни бравый полковник зарыдал, вновь рухнув на диванчик. И тут его как опалило ласковым, душистым жаром:

— Проснулся, мой герой? Хи-хи, а мне что-то не спится. Давай еще поиграем.

Хмуров протирает и таращит глаза в комнате, освещенной слабым отблеском лампочки из крохотного коридора курортного номера. А к его торсу прильнула пышущая жаром желанием курортная же, деловая подруга редакторша Стеллочка. «Уф-ф, так этот сон такой кошмарный мне приснился?»

— Гриш, ты чего такой?

— Погоди, дорогая, сейчас.

Григорий Иванович поднялся с постели, подошел к маленькому корейскому холодильнику, открыл дверцу, взял початую бутылочку, а со стола граненый казенный стакан, налил (опять же по-маленьковски) до краев, в два глотка ввел коньяк в организм, шуточно зарычал. Стеллочка восторженно взвизгнула.

...Здесь целомудренный читатель, стыдливо потупив глаза, покинет на время нашего героя, а постояльцы соседних с хмуровским номеров, досадливо ворочаясь в своих одиноких, холодных постельках, не раз и не два услышат из-за стенки страстный женский стон и непонятные им слова: «Издам, милый, хоть десять томов в убыток нашей конторе издам!»

Наутро Полковник проснулся свежий и бодрый. Одобрительно посмотрел на ровно дышащую во сне Стеллочку и вполне серьезно подумал: «Все, баста. Пора заканчивать эти игры с прогнозами будущего. Надо делом заниматься. Вот с нового учебного года начну писать капитальный учебник по ракетно-артиллерийским взрывателям. Никто на кафедре за него не берется. А мне и сам бог велел теперь».

